

СМЫСЛОВАЯ

БОРИС ДУБИН

ВЕРТИКАЛЬ

Книга интервью
о российской политике
и культуре 1990–2000-х

ЖИЗНИ

Борис Владимирович Дубин **Смысловая вертикаль** **жизни. Книга интервью** **о российской политике** **и культуре 1990–2000-х**

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68691939

*Смысловая вертикаль жизни. Книга интервью о российской политике и культуре 1990–2000-х: ИНИОН; 1980 гг. М; 1982
ISBN 978-5-89059-450-1*

Аннотация

В 2021 году исполнилось бы 75 лет известному российскому социологу и переводчику Борису Владимировичу Дубину – тонкому знатоку европейской культуры, литературы и поэзии, публичному интеллектуалу, автору нескольких сотен работ, лауреату многочисленных премий в России и за рубежом. В кругу российских гуманитариев он известен прежде всего как социолог «Левада-центра», работавший в исследовательской парадигме Юрия Левады. Широкому кругу читателей он знаком как первоклассный переводчик поэзии и прозы – испанской, французской, английской, венгерской, польской. Многие авторы, составившие цвет европейской культуры XX века, стали доступны российскому читателю благодаря Борису Дубину.

Книга его интервью – документ эпохи и ценный ресурс, источник понимания и интерпретации российской действительности и общественного сознания 1990–2000-х годов, панорамный взгляд на позднесоветскую и постсоветскую историю. В интервью формировался аналитический язык описания Бориса Дубина, точные и острые диагнозы времени развивались в его социологических исследованиях, а переводческие интуиции оформлялись в этос и философию перевода.

Содержание

Татьяна Вайзер	7
Воскрешенный в слове	14
Елена Петровская	14
Олег Аронсон	20
Александр Дмитриев	30
Несложившаяся модернизация	34
«Адаптация и единение в выживании оказались сильнее, чем идея стать другими»	34
«Интеллигенция – понятие сложное» (часть I)	44
«Человеческая память конструируема» (часть II)	53
«Осознания кризиса в стране нет»	62
Дилеммы и смыслы российской политики	81
Есть ли модернизационный ресурс у идеологии «особого пути»?	111
Конец ознакомительного фрагмента.	129

Борис Дубин
Смысловая вертикаль
жизни. Книга интервью
о российской политике
и культуре 1990–2000-х

Составитель выражает благодарность Антону Дубину за всестороннюю помощь в работе над книгой

Издательство благодарит интервьюеров и издания, в которых были опубликованы интервью, за разрешение на их републикацию

© Б. В. Дубин (наследники), 2021

© Т. В. Вайзер, составление, статьи, 2021

© Е. В. Петровская, статья, 2021

© О. В. Аронсон, статья, 2021

© А. Н. Дмитриев, статья, 2017

© И. В. Кукулин, статья, 2015

© Б. Е. Степанов, статья, 2015

© И. М. Каспэ, статья, 2015

© М. Б. Ямпольский, статья, 2014

© С. В. Козлов, статья, 2014

© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2021

© Издательство Ивана Лимбаха, 2021

* * *



Татьяна Вайзер

О чем эта книга

В этом году исполнилось бы 75 лет известному российскому социологу и переводчику Борису Дубину – тонкому знатоку европейской культуры, литературы и поэзии, публичному интеллектуалу, автору нескольких сотен работ, лауреату многочисленных премий в России и за рубежом. В кругу российских гуманитариев он известен прежде всего как социолог «Левада-центра», работавший в исследовательской парадигме Юрия Левады. Для широкого круга читателей он прежде всего первоклассный переводчик поэзии и прозы – испанской, французской, английской, венгерской, польской... Кальдерон, Борхес, Кортасар и Ортега-и-Гассет, Фернандо Пессоа и Пабло Неруда, Гарсиа Лорка и Янош Пилински, Джеймс Джойс и Эмиль Чоран, Морис Бланшо, Аполлинер и Анри Мишо и многие другие авторы, составившие цвет европейской культуры XX века, стали доступны российскому читателю благодаря Борису Дубину.

За несколько десятков невероятно продуктивной научной и переводческой работы этот *человек-универсум*, или – как сформулировано в одном из эссе этой книги – *человек-институт*, практически создавал советский и позже – российский литературный ландшафт, обогащал отечественные биб-

блиотеки переводами иностранной поэзии и прозы, наводил мосты между российским читателем и европейской интеллектуальной культурой и художественной литературой, приобщал российского читателя к медленному и вдумчивому интеллектуальному чтению, развивал вкус к изысканному и экзистенциально весомому поэтическому слову. Как социолог, он раскрыл многие механизмы российской социальной и политической действительности, реконструировал антропологию советского и – через нее – постсоветского человека. Как переводчик – обозначил новые горизонты возможного мыслимого в слове и через слово («перевод – это расширение возможностей языка»), придал русскому поэтическому слову вес, бархатную нежность, невесомость и сокровенность.

Книга включает в себя интервью Бориса Дубина разных лет¹. Эта книга – документ эпохи, ценный ресурс – источник понимания и интерпретации российской действительности, российского общественного сознания 1990–2000-х годов для русских и иностранных читателей – панорамный и въедливый взгляд в позднесоветскую и постсоветскую историю. В интервью (помимо прочих практикуемых им форматов публичных высказываний: статей, книг, многочисленных выступлений) формировался аналитический язык опи-

¹ В книгу вошли практически все интервью Бориса Дубина, кроме незначительных по объему и повторяющих сказанное им в других, более развернутых, беседах. Выражаю благодарность Ирине Кравцовой и Марине Литвиновой за помощь в составлении книги. Без их участия и поддержки она не могла бы состояться.

сания Бориса Дубина, этос и философия его переводов. Точные и острые диагнозы времени и отдельные мысли-инсайты развивались в его социологических исследованиях, а переводческие интуиции оформлялись в теорию и практику перевода. Или – в обратной перспективе – через интервью он мог донести широкому кругу читателей те более сложные социологические построения и ювелирные опыты художественного письма, до которых читателю еще предстояло расти. Эта книга – источник знания и понимания российского общества: его умонастроений, норм, ценностей, установок и мифов. Тематически сгруппированные и хронологически выстроенные интервью позволят внимательному читателю предпринять реконструкцию целой эпохи 1990–2000-х. Совершить мысленное путешествие в прошлое с тем, чтобы увидеть глазами социолога то будущее, которое сегодня – увы или неизбежно – стало нашим настоящим. Читатель уловит в этом погружении общую интонацию пессимизма, обреченности и переживание бесперспективности (Россия – страна, которая в отличие от Германии после всех репрессивных политик не проделала и не пережила *Trauerarbeit*²; в отличие от Европы – не выработала этику повседневной коммуникации и культуру уважения и признания Другого и т. д.). Однако в глубине этого пессимизма – надежда на изменения через трудоемкую боль освобождения от иллюзий; мотивация к каждодневному усилию по преобразованию че-

² Работу траура (нем.).

ловеческой природы, системы отношений и ключевых ценностей российского общества.

Структура книги включает тематические блоки, по которым видно, какие темы волновали как самого Бориса Дубина, так и в целом российскую медийную сферу, испытывающую потребность в аналитических комментариях происходящего. В некоторых случаях сохранялись оригинальные названия интервью, иногда названия давались составителем, иногда для заголовков заимствовались формулировки самого Дубина. Среди интервью будут встречаться разные форматы: беседа в формате вопрос-ответ, беседа в сообществе коллег или диалог с собеседником с равным вкладом обоих. Открывают и завершают книгу эссе российских исследователей, учеников Бориса Дубина, а также его коллег, социологов, культурологов, философов. В заключение приводятся библиографические списки его работ и переводов.

«Смысловая вертикаль жизни» – формула одного из интервью Дубина, которая, впрочем, проходит рефреном через все его рассуждения и жизненные установки: нелюбовь к жестким иерархиям власти, доминированию, эгоцентризму и герметизму, которым он неизменно противопоставлял коммуникативную открытость, доверие, чуткость, понимание, взаимодействие, солидарность. Поэтому не властная довлеющая вертикаль самодостаточности, но устремленное вверх становление самосознания, моральное обязательство достоинства, кропотливый повседневный труд: «Паскаль, да

и мудрецы до него говорили, что только зло растет само собой, а добро нужно строить каждый день, потому что оно разрушается на глазах. Нужны коллективные усилия общества по созданию этого добра: чтобы прекратились перебежки, чтобы появилась не властная, а смысловая вертикаль жизни»³.

После внезапной и опустошающей в своей непредсказуемости смерти Бориса Дубина в 2014 году должно было пройти время, чтобы эта книга появилась. За семь лет в стране произошли столь радикальные изменения, что анализируемые им позднесоветские и раннепостсоветские реалии стали видеться на рефлексивной дистанции; многие, если не все, диагнозы подтвердились; а ухваченные им тенденции общественной жизни обострились настолько, что некоторые фрагменты интервью стало страшно читать – так реалистично оказались заложенные в них контуры будущего.

В последние годы Дубин говорил, что остается «все меньше сообществ, к которым [он] хотел бы быть причастным». Это понятное одиночество или сосредоточение в себе человека, опыт миропонимания которого становится с годами все глубже и уводит его от поверхностных и быстротечных соединений. Одиночество человека-универсума, культурного и интеллектуального, который тем не менее всегда сожалел об отсутствии в России гражданских сообществ и ком-

³ См. в этом сборнике интервью «Президентуру сдал» (с. 233–237 настоящей книги).

мунитарного импульса солидарности, был открыт для общения, уважал оппонентов, помогал другим советом и делом, соучаствовал в их личном и профессиональном росте... В этом – его жизненное *кредо*, а после него – не только сотни работ, которые нам еще предстоит открывать для себя, но и тысячи вовлеченных в рефлекссию и дискуссию читателей, десятки учеников и коллег – соучастников его мысли. Для широкой публики он был авторитетным социологом и тончайшего слуха переводчиком; для коллег – бесценным другом и незаменимым сотрудником; для учеников – горизонтом, определяющим смысловые и ценностные координаты жизни. По словам одного из интервьюеров этой книги, «он был одинаково нужен всем. Его нравственное чувство принималось за безошибочное, его научный труд был интересен до последнего дня, его стихи и переводные работы принимались как мерило вдумчивости любви к жизни, политическая позиция ни разу не увязывалась с выгодой, его дружба оставалась нерушимой, его обязательность и сегодня обсуждается как пример профессиональности и безжалостности к себе»⁴. В этой книге – попытка реконструировать мыслительный *универсум* через интервью, в которых – средоточие жизненного опыта и аналитического зрения Бориса Дубина, фактура его диалогического языка и глубиномер про-

⁴ Из предисловия редакции интернет-журнала «Гэфтер» к четырем интервью в «Левада-центре», данным журналу Борисом Дубиным в последний год его жизни (см. с. 467 настоящей книги).

нищательных интуиций.

Воскрешенный в слове

Елена Петровская

О «связности высказывания» как заявлении этической позиции

Борис Владимирович Дубин писал свои труды в разное время. И в трудах этих, безусловно, присутствует след времени, которому они принадлежат. Даже если иметь в виду отрезок длиной по крайней мере в три десятилетия (1980–2000-е), то это период, в котором нет непрерывности, иными словами – эпоха разломов. Сначала речь шла о болезненном переходе в постсоветскую реальность, потом – о трансформациях внутри этой последней. И главная тема Бориса Владимировича, на мой взгляд, – это как раз такой переходный, читай травматический, опыт, куда вовлечена ни больше ни меньше, как вся культурная среда с ее разнообразными агентами и сложной системой внутренних связей. Борис Владимирович, оказавшийся участником этих процессов, как и другие представители его поколения, а также поколений старших и младших, в отличие от большинства сограждан пытался делать почти невозможное – размышлять о происходящих переменах, не имея возможности положить-

ся на готовые разборы и исследования. Ведь таковых, в сущности, и не было, и поэтому Борис Владимирович выполнял двойную роль: с одной стороны, он тонко фиксировал происходящее, используя социологические (и не только) инструменты, с другой – этой самой работой он создавал условия для концептуализации происходящих процессов, в том числе с ориентацией на будущее. И эта особенность его исторического положения – но и осознанной позиции – хорошо прочитывается из сегодняшнего дня.

Если говорить более конкретно, Бориса Владимировича интересовала сама культурная динамика, которую он связывал во многом с положением интеллигенции. По-видимому, сам выбор данной темы – анализ необратимых изменений, происходивших с этой некогда весьма влиятельной прослойкой, – можно считать эмблематичным. Это значит, что чуткое внимание к причинам и проявлениям ее упадка было формой диагностики не только формационного сдвига (если говорить марксистским языком), но и тех интеллектуальных и культурных изменений, которые этот сдвиг с неизбежностью влек за собой. Способом понимать происходящее с интеллигенцией для Б. В. Дубина была литература, причем литература в широком диапазоне от действующего института до идеологического мифа. Стоит отметить, что к этой же сфере относилось и собственное его творчество, а именно переводы современных толковательных и поэтических текстов, а также сочинение стихов. Это отдельная большая сфе-

ра приложения его усилий, и, конечно, она заслуживает гораздо большего, чем краткое упоминание. Тем не менее важно понимать, что выбор авторов и сочинений был сам по себе показателен: этим выбором Б. В. Дубин стремился преодолеть замкнутость и антиинтеллектуализм советской официальной филологии и тем самым де-факто поставить вопрос о необходимости рефлексии и саморефлексии в тех областях знания, которые раньше всецело полагались на шаблон. Вообще, это весьма ощутимый мотив – призыв к тому, чтобы задуматься над основаниями своего высказывания, что только и гарантирует связность.

Я заимствую эти слова у самого Бориса Владимировича. Он произносит их в очень конкретном контексте, досадуя на то, как упал уровень переводческой литературы (но разве сегодня дело обстоит намного лучше?). Очевидно, что для него отсутствие «основ связности высказывания» – во все не частная проблема. В этом ему видится нечто куда более серьезное: разрушение самих «системных опор культуры», условий ее нормального воспроизводства. В такой постановке вопроса трудно не услышать явственный этический мотив. Это не простое сетование по поводу дурного качества самопальной продукции, появившейся в 1990-е годы. Это разом тягостное ощущение от коммерциализации гуманитарной сферы (процесс, что ни говори, объективный) и от выбора, совершаемого теми, кто соглашается идти по такому пути. Ведь, в сущности, мало что подталкивает гуманита-

рия к тому, чтобы двигаться наперекор мейнстриму, работая не на «валовой продукт», а на эти самые «системные опоры» (в нынешней ситуации тотальной бюрократизации науки это вдвойне актуально). Причем, замечу, совсем не обязательно сознательно провозглашать этот выбор; достаточно быть честным перед собой и перед предметом своего исследования. Этим всегда и отличался сам Борис Владимирович.

Отдавая себе полный отчет в происходящих трансформациях – в 1990-е это было нечто похожее на отмирание государства, по крайней мере по части регулирования знания и его субсидирования, – Б. В. Дубин тем не менее сохранял, если можно так сказать, определенный этический стандарт, который в описанных условиях превращался чуть ли не в героизм индивидуального выбора или индивидуально-сопротивления. И конечно, это очень многим импонировало. Импонировали прямота и честность, нежелание считаться с конъюнктурой – в отрицательном и, возможно, в какой-то мере положительном смысле. Борис Владимирович всегда заявлял свою позицию открыто, и его исследовательские предпочтения коррелировали с непредвзятостью к новым культурным явлениям, в которых было много неожиданного и тревожащего (в самом деле, еще недавно закрытое общество вдруг стало с удовольствием потреблять новейший западный масскульт). Интересно, пожалуй, то, что такая чувствительность – это, наверное, по-настоящему интеллигентская черта, и в этом смысле Борис Владимирович принадле-

жал тому кругу людей и той системе ценностей, исчезновение которых сам же констатировал. Впрочем, в фокусе его внимания всегда находились институты, и с этой стороны он был, безусловно, прав.

Свидетелем еще одного сдвига Б. В. Дубин стал уже в 2010-е годы. И здесь я не могу не вспомнить события, непосредственно предшествовавшие его преждевременной кончине. В 2014 году я собирала специальный российско-украинский номер своего журнала, посвященный событиям, происходившим тогда в Украине⁵. Год был крайне тяжелым в эмоциональном отношении и, как это хорошо известно, расколол нацию буквально пополам. Борис Владимирович согласился написать текст о Майдане, и, как оказалось, это был его последний текст. Я не раз возвращалась к этой статье, которая впоследствии была переведена на английский⁶: в ней нет прокламаций, хотя присутствует позиция; на социологическом материале просто и доказательно показано, кто и как поддерживал киевский Майдан на протяжении первых двух месяцев массовых протестных выступлений. И здесь для меня сошлись вместе бесценные черты Бориса Владимировича: его честность перед собой и читателем и умение поддерживать те самые системные опоры культуры, о которых нет

⁵ Синий диван. 2014. Вып. 19.

⁶ *Dubin B. V. Ukrainian Protest: On the Eve, During, and After (A Sociologist's View) / Transl. by P. Golub // Russian Studies in Philosophy. Special Issue: Maidan / Ed. by H. V. Petrovsky. 2016. Vol. 54. № 3. P. 202–211.*

необходимости прямо заявлять, – их устойчивость вытекает из последовательно реализуемой этической позиции. В этом и состоит исследовательский этос; и сегодня он востребован как никогда.

Олег Аронсон

Борис Дубин в нечитающей России

*

Борис Дубин был выдающийся интеллигент. Сама эта фраза звучит несколько странно, поскольку слова «выдающийся» и «интеллигент» словно не сочетаются друг с другом. Действительно, интеллигента мы представляем себе иначе. Обычно – как представителя определенной социальной группы, сформировавшейся еще в царской России, а в Советском Союзе получившей даже особый статус межклассовой «прослойки». Можно быть выдающимся ученым, художником, мыслителем, но почти невозможно стать выдающимся интеллигентом, поскольку в этом случае ты принимаешь не только (и не столько) позитивные качества этой группы, а скорее все то негативное, что сама интеллигенция по поводу себя высказала и продолжает высказывать. В радикальной форме это началось в сборнике «Вехи», знамениты инвективы Ленина и Цветаевой, а Солженицын подвел черту своим жестким определением – «образованщина». Это был настоящий приговор «читающей России», которая, как выяснилось, и была тем малым уникальным сообществом,

способным воспринимать (принимать и критиковать) самого Солженицына.

Когда я говорю, что Борис Дубин был выдающийся интеллигент, то нисколько не умаляю его достоинств как исследователя культуры, переводчика, поэта. Я всего лишь хочу сказать, что почти все, что он делал, следует рассматривать под углом его постоянного самообоснования и самовоспитания именно как русского интеллигента. А это задача очень непростая, поскольку приходится иметь дело и с нехваткой европейского интеллектуализма, и с наивным интеллигентским элитаризмом, когда невольно становишься чужаком по отношению к так называемым простым людям (тем, что не находятся в мире культа книжной культуры)...

Когда мы сегодня вспоминаем Бориса Дубина, то чаще всего говорим о двух сторонах его деятельности – переводчика зарубежной литературы и социолога культуры. Замечу, что и то и другое – попытка преодоления именно тех интеллигентских ограничений, о которых было сказано. Борис Дубин страстно стремился включить русского читателя в контекст мировой литературы и с удивительной настойчивостью пытался понять общество, находящееся за рамками культуры чтения.

Казалось бы, перед нами два совершенно разнонаправленных, противоречащих друг другу усилия. Подчеркивается это еще и тем, что для переводов Борис выбирал тексты художественные, поэтические и интеллектуальную эссеистику,

но никак не тексты, за которыми закреплен статус «академических», «научных»; свои же высказывания как ученого он сознательно иссушал, лишая любого намека на метафоричность, доводя до уровня социальных «фактов» и общественно значимых «смыслов».

Однако это противоречие окажется не столь очевидным, если мы заметим, что в переводческой и социологической практике есть нечто общее. Обе они – формы неявной критики. Перевод – в отношении локальной культуры, социология – в отношении общества в целом.

* *

Когда я говорю, что сегодня многие тексты Бориса Дубина реагировавшие на конкретные события уже ушедших времен, следует рассматривать именно в связи с его самоощущением как интеллигента, то одним из самых важных качеств этих текстов становится то, как событие, меняющее отношения внутри общества, меняет и наблюдателя. В этом смысле переводы Дубина оказываются удивительно значимыми именно как социальный жест – введение в русскоязычный контекст множества неизвестных современных авторов, переведенных с множества языков. И эта множественность принципиальна. Она, в отличие от традиционного опыта тех переводчиков, которые специализируются в конкретном языке или на определенных авторах, не столько акцентирует

отношение между двумя текстами, сколько указывает на глобальные культурные связи. Социология же, напротив, оказывается в исполнении Бориса «лирической». Это не вполне социология в классическом понимании, опросы и теоретические концепции отступают здесь на второй план, а на первом почти всегда оказывается непроходимый барьер между читающей и нечитающей Россией.

Сам Борис Дубин предпочитает говорить о массовой культуре, но я сознательно акцентирую этот момент ухода книжной культуры (см., например, его текст «Прощание с книгой»), поскольку именно здесь заметна определенная меланхолия, которую можно воспринять как методологическую растерянность, но также очевидна и его реакция на этот вызов времени. Фактически речь идет о том, как средствами книжной культуры мы можем анализировать иную культуру, совершенно чужеродную. Ее, конечно, можно назвать «массовой» или «культурной индустрией», но ощущение, что сам термин «культура» в данном случае ложный ориентир, не покидает. Скорее, приходится говорить о том пласте социальной жизни (страхах, ожиданиях, надеждах), доступ к которому у нас есть лишь опосредованно, через культурные формы, стереотипы, клише. Когда мы имеем дело с кинематографом, телевидением, а сегодня – с интернетом, то та культура, о которой в интеллигентской среде зачастую говорилось с пиететом и некоторым придыханием («классическая», «высокая», «европейская», «модернистская»...),

культура образцов, оказывается одной из «превращенных форм». Этот термин Маркса относился к капиталу как новому способу поработать людей, создавая иллюзию их свободного выбора, но мы вполне можем говорить так и об обществе, для которого своеобразным «капиталом» оказывается в том числе и культура книги.

Для Бориса, с которым мы не раз говорили на эту тему, это был болезненный момент. Он соглашался с тем, что книжная культура уходит, но одновременно переживал это очень лично. Тем не менее его исследовательский посыл был именно в том, чтобы максимально интенсивно осваивать области на границах литературы (массовые жанры) и за ее пределами (анекдоты, сплетни, слухи). Он ощущал себя частью глобального мира, в котором культура, чтобы продолжаться, должна меняться, должна искать свой способ существования. И проблема здесь вовсе не в стирании границ между классической культурой и массовой, о чем Борис многократно писал в те времена, когда это еще вызывало раздражение и непонимание, а в том, чтобы найти место культуры не как ценности, а как важной социальной формы жизни в мире глобального рынка, новых технологий, нейросетей и больших данных, то есть в мире, ей предельно чуждом.

* * *

Сегодня среди множества текстов Бориса Дубина мне

вспоминается один, казавшийся в момент его публикации очень частным, почти черновым наброском для возможного перспективного поля исследований. Он был посвящен слухам («Речь, слух, рассказ: трансформации устного в современной культуре»⁷). Дело в том, что в этом тексте есть почти незримая связь с миром современных массмедиа, который Борис, увы, не застал. Уверен, что нынешняя реальность, с ее политическими манипуляциями, беззастенчивой пропагандой и тотальностью *fake news*, его бы и ранила, и интриговала как исследователя. Так вот, в тексте о слухах он хотя и пишет о том, что стремится анализировать их «культурные особенности» и даже пытается найти в них «жанровые истоки», но отмечает при этом ряд вещей, касающихся именно сегодняшнего дня, когда то, что раньше было периферией культуры (слухи), становится информационным пространством, культуру вытесняющим (*fake news*). Он анализирует слухи как феномен принципиально коллективный, несводимый к пониманию и даже восприятию на уровне индивидуального сознания. Это выражено предельно четко в двух тезисах: 1) слухи имеют дело с любым человеком («каким угодно», таким «как все») и обнажают в нем именно то, что делает его сопричастным некой неструктурируемой общности, коллективности за рамками социальных институтов; 2) то, что Борис выражает словами «слухи вездесущи», значит, что они

⁷ См.: Дубин Б. Слово – письмо – литература: Очерки по социологии современной культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

уже не просто «сообщения», а стихия, через которую высказывается общность, когда «молва» становится речевой пластической формой коллективной динамики. То есть слухи не то, что является культурной aberrацией, а то, что преодолевает любые культурные автономии, утверждая прозрачность мира и информационную тотальность. Сколь бы ложны и смешны ни были слухи, именно их анализ позволяет приблизиться к тому, как вопреки разуму и воле индивида действует «общее чувство» (кантовское *sensus communis*), логика которого по-прежнему практически не изучена. Для меня Борис Дубин – тот, кто внес важный вклад в понимание того, как функционирует *sensus communis*.

И здесь важны именно смещения. Например, его работы по социологии культуры и литературы хоть и опираются на опросы, данные рынка, тиражи и рейтинги, но фактически описывают нечто иное, нежели «объективное состояние» общественного мнения. Я назвал бы это «общественным настроением». Последнее куда более эфемерно, но сама его эфемерность – результат включения интеллигента-наблюдателя в процессы, где неминуема его собственная трансформация. Эта трансформация связана с переходом от критики общества, с его институтами и нормами, к ощущению связи с той общностью, которая этим институтам неявно противостоит (в том числе и таким институтам, как литература и культура).

Когда Кант описывает суждение вкуса как вариант *sensus*

communis, то указывает на своеобразный универсальный голос (*Stimme*), в котором звучит непостулируемое согласие каждого. И если в третьей «Критике» это «согласие» ближе к квазиправовому «соглашению», то в более поздних работах («Спор факультетов», «К вечному миру») речь идет о революционном (коллективном) энтузиазме и солидарности. Именно ощущение неразрывной связи с теми, от кого ты принципиально отделен культурой, отмечает действия интеллигента. Такая особая солидарность с теми, с кем никогда не сможешь найти согласие, отличает и работы Бориса Дубина. Это не научная нейтральность и не толерантность. Это момент, когда при отсутствии согласия голосов (*Stimme*) ощущаешь коллективное настроение (*Stimmung*), еще точнее – «настрой» или «настроенность», в которых стихия общности захватывает тебя помимо твоих индивидуальных предпочтений. Общественное настроение вообще не доходит до уровня мнения и суждения. Респондент опроса может говорить одно, но общественное настроение заставит его уже на следующий день делать то, что прямо противоречит его словам. Именно в действии, нарушающем согласованность и согласие, актуализуется это смутное «настроение». Такое действие оказывается моментом честности в мире, где любая достоверность и любая правда фальсифицируемы.

Когда в августе 1991 года случился путч и люди своим протестом изменили ситуацию в стране, произошло событие, которое не предсказывали никакие опросы и никакая политическая аналитика. Сегодня *post factum* говорят и о слабости власти, и о московской локальности протеста, о том, что страна его не поддержала. Сейчас уже тех, кто негативно оценивает произошедшие перемены, большинство... Однако очевидно, что то событие состоялось именно в силу общественного настроения, когда торжествовала солидарность. Это был тот редкий (может, единственный) случай, когда интеллигенция и народ не противостояли друг другу, а были единым целым. И мне кажется, сам этот факт не может не быть значимым для человека, который к тому времени уже был вовлечен в исследование общества.

Вспоминая Бориса Дубина, кто-то может акцентировать его личные качества, кто-то – профессиональные. Кто-то может вспомнить о 1960-х, когда он формировался как филолог и поэт, кто-то посчитает важным отметить социологические работы 1990-х. Я не был знаком с Борисом близко. Мы просто периодически пересекались и общались на конференциях, семинарах, в среде общих знакомых. Я не знаю подробностей его личной жизни. Но мне кажется, что для его интеллектуальной биографии 1991 год имеет первосте-

пенное значение. Он был свидетелем этого почти случайного согласия двух России, читающей и нечитающей. Верен этому событию (или, если угодно, имманентен ему) он оставался все последующие годы, когда, говоря его же словами, «социальная материя вновь стала рыхлой», когда общество вновь, как и прежде, постепенно научилось лгать самому себе, а так называемое общественное мнение стало политизированным проводником этой лжи. В этой ситуации трудно было остаться интеллигентом, а извлечь из интеллигентности интеллектуальный ресурс не смог почти никто. Смог Борис Дубин, никогда не оставлявший надежды осуществить свой важнейший перевод – лирики индивида в физику социума.

Александр Дмитриев

Лейтмотив и агон

Катастрофичность, масштаб *потери* только острее от его всегдашней замечательной уравновешенности, которую никто и никогда не принял бы за равнодушие, бесстрашие. Даже если не пришлось знать Бориса Дубина особенно долго или близко, было ясно, как его по-настоящему трогают обстоятельства жизни общей или же заботы конкретного человека из множества знакомых, друзей, учеников.

В тексте памяти М. Л. Гаспарова, написанном почти десять лет назад, Дубин сразу указал на *парадоксальный* характер творчества великого ученого, зорко обратив внимание на скрытую интеллектуальную страсть, пафос и даже особую ярость в этом «по-японски вежливейшем человеке». Самого Бориса Дубина в поэзии и мысли явно привлекали авторы края, внутреннего, уже не романтического и часто отчаянного прорыва «за грань» – притом что сам он был, наверное, наиболее гармоничным, собранным и выдержанным человеком, которого мне довелось знать. И вот в этом я не вижу парадокса, внутренне переживаемой сшибки полярных начал или подобия некой жизнестроительной дихотомии. Речь о чем-то другом – быть может, более глубоком.

«Переводчик Борхеса» и «соратник Левады» – каждый знал эту разноипостасность Бориса Дубина и принимал с той

или иной долей интереса это абсолютно уникальное соединение тонкого знатока философско-религиозных или художественных концептов и строгого аналитика разнообразной социальной жизни. Это *было* еще богаче привычного столкновения высокого и низкого, много шире предсказуемого диалога умудренной или безыскусной Поэзии – и социологической Правды. В его мире, к примеру, простодушные «песенки» Пессоа, изощренного во всем прочем автора, или скрытый за шутовством стоицизм Гомбровича как-то ощутимо, отчетливо резонировали с поэтикой второразрядного «ново-русского» сериала или боевика. «То», конечно же, сложно сопрягалось, внутренне соотносилось с «этим». За счет чего?

Здесь возможно затронуть ту часть его умственной жизни (не просто вкусов!), которую знают меньше, а она мне бросилась в глаза однажды, когда Борис Владимирович куда-то спешил после очередного семинара. Я хотел с ним поговорить, но он поспешил извиниться: «Да, обязательно, в другой раз. Я сейчас спешу на Сильвестрова в филармонию». И тут мне открылся другой мир, который редко упоминают, говоря о Борисе Дубине, а для него была очень важна академическая музыка: не только Ренессанс и барокко, венский классицизм, ранний и поздний романтизм, но и модерн, довоенный (до Второй мировой) и послевоенный авангард, поставангард – в различных его проявлениях... Его интерес к музыке, стремление к осмысленному ее слушанию были ис-

ключительными.

У меня совсем нет нужного образования, но вот несколько терминов, музыкальных метафор, которые для понимания его были, как мне кажется, очень существенны. Первый – это «лейтмотивы», то что для него было важно в культуре, в том числе и в обществе, включая и клише, повторяемости, социальные штампы, сюжеты, такие затвердевшие формы, которые он знал, изучал и, безусловно, видел их подкладку. Дальше, может быть, именно как для человека литературы важное «многоголосие» – это в романах Мануэля Пуига, которого он так любил, вводил их в русский контекст. Разность голосов, несводимых друг к другу, не выстраивающихся в хор, – «диссонанс», который он очень знал, понимал. Напряжения, которые не дают свести его взгляды в стройную систему, будут резать ухо, но именно эта болезненность важна и значима. Наконец, последняя, какая-то личная, уже его собственная – «гармония», в которой это все как-то уживалось, соединялось.

И все-таки было в этой удивительной и убедительной гармоничной агональности интересов и еще *что-то*. Что-то, для меня лично в Борисе Дубине самое важное, скрытое и безнадежно конфликтное – и потому особенно интересное. Тайна, вопрос. Для меня в конце заглавия их первой со Львом Гудковым книги («Литература как социальный институт»), вышедшей в издательстве «Новое литературное обозрение» в середине 1990-х, но до сих пор едва прочитан-

ной и вряд ли так, как *стоило бы*, должен стоять знак вопроса.

Если бы я подошел и спросил – получил бы продуманный, обстоятельный и спокойный ответ, где «то» чудесной силой его ума снова и снова, ровно и надежно совмещалось бы с «этим», Сведенборг с Жириновским, стёб с метанойей, все на своих местах – и все-таки вопреки, поперек слишком гладкой предписанности. Слава богу, за беззаботно долгие годы общения у меня все-таки была возможность расспрашивать его по частным поводам. Ответы каждый раз были разными, но главного вопроса это все равно не снимало.

Без Бориса Дубина этот «проклятый» вопрос – наверно, это все же вопрос о противостоянии и единстве Социального и Культурного, как бы заштампованно это ни звучало – был бы сформулирован (для меня, для «нас») совсем по-другому. И на месте указанного «голового» штампа из учебника культурологии или эссеистической «красивости» Дубин видел, чувствовал, находил – этот вопрос.

А теперь некому его задать. Остается помнить, вспоминать того, кто ему нас научил.

Несложившаяся модернизация

«Адаптация и единение в выживании оказались сильнее, чем идея стать другими»

Впервые: Политический журнал. 2004. № 28. Републикация: *Шаповал С.* Беседы на рубеже тысячелетий. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 495–503.

Борис Владимирович, я предлагаю оттолкнуться от следующего высказывания Борхеса: «Если мы задумаемся о политической истории, то поймем: все, что происходит сейчас, без сомнения, напоминает сны, которые уже почти никому не снятся; никому, кроме политиков». Применим ли этот диагноз к нашей ситуации?

Я бы так не сказал. У Борхеса было особое видение. Если не брать ранние его годы, когда он был близок к левосоциалистической оппозиции, Борхес был консерватором – открытым и убежденным. С одной стороны, победивший в Аргентине начала 1940-х годов ксенофобский популизм его как интеллектуала не устраивал, а с другой – как человека, принадлежащего к окраинной, несамостоятельной и в целом еще не состоявшейся цивилизации, где время, как во сне, дви-

жется зигзагами (если вообще движется), наводил на мысль, что сто лет назад было ровно то же самое. Он проводил много параллелей с вождистскими режимами XIX века, современность становилась для него сновидением, причем чужим – наваждением, навязываемым со стороны.

Мне кажется, у нас несколько иная ситуация: другие времена, другие пространства. Внешне как будто царит победное единомыслие, но ведь это только внешне. Анализ показывает, что у нынешнего политического режима нет ни идей, ни программ. И это бы еще ладно, в конце концов не по программам власть оценивается, а по эффективности, относительной слаженности и хотя бы умеренной разумности, по умению выходить из трудных ситуаций, а еще лучше – их предвидеть и не попадать в них, да и других не заводить.

У нас же президент не сходит с первых полос газет и экранов телевизоров, но как только что-то случается, он оказывается очень занятым и в течение двух-трех дней буквально невидимым. Это говорит о том, что Путин и те, кто за ним и заодно с ним, реально не управляют ситуацией, не знают, как себя вести: нет не только идей, нет людей и механизмов их взаимодействия. Это и есть подоплека внешнего единомыслия: вокруг чего тут быть единству мысли?

А как же сильная, единая и неделимая Россия?

Ну да! Все это из затхлого официального обихода: взять и укрепить (вспомним Щедрина). Исторический опыт свидетельствует о том, что укреплять начинают, когда все уже рас-

сыпается. И напротив, в условиях свободы, после некоторого периода неопределенности чаще всего получается вполне достаточная прочность. Тут все просто: людям надо зарабатывать деньги, строить дома, давать образование детям, менять машины и т. д. То есть жить таким образом, чтобы, во-первых, будущее было достаточно предсказуемым, и во-вторых (и это крайне важно!), чтобы оно в значительной мере зависело от самих людей. Мы же получили ситуацию, когда нет того, вокруг чего можно объединиться, поскольку есть самый общий символ, за которым неизвестно что стоит, да и объединяться некому, потому что людям нет дела до того, что происходит в политической сфере. Они отдали политику на откуп тем, кто занимает соответствующие посты в иерархии власти. Отсюда то самое видимое единomyслие. Есть ли у этой власти оппозиция? Последние выборы показали – нет. Мы с коллегами еще в 2000 году писали, что в стране принудительно-естественным порядком устанавливается общая серость, отсутствуют реально выраженные политические субъекты, способные мыслью, словом, действием оппонировать власти. Все стало сваливаться в середину, заработал принцип авоськи: она форму не держит, все, что в нее складываешь, сваливается вниз и в центр. Сказать, что у власти совсем нет оппонентов, я не могу, потому что вижу достаточно большой уровень недовольства теми или иными сторонами ее деятельности. От четверти до 30 % россиян вообще не одобряют деятельность Путина на посту пре-

зидента, а его поведение в дни Беслана отрицательно оценили 36 % россиян. Так что Россия вовсе не так уж единогласна, как хочет показать официоз. К тому же за одобрением и поддержкой у нас чаще всего стоит следующее: я передаю президенту право на ведение политики, и больше меня это не должно касаться.

Да и за неодобрением чаще всего стоит: во власти все сволочи. Можно ли тут говорить об оппозиционных настроениях?

Это действительно сложная и не очень определенная конструкция. Есть настроение недовольства, есть брюзжание, чего точно нет – желания стать другими. Это формула упомянутого вами Борхеса. В тексте, посвященном 150-летию войны, принесшей свободу латиноамериканским колониям, он писал: какими бы разными мы в тот момент ни были, мы ясно выразили желание стать другими. В конце 1980-х – начале 1990-х казалось, что в стране есть стремление стать другими, сегодня я этого сказать не могу. Нет у нас сколько-нибудь значимых, авторитетных групп людей, объединенных желанием быть другими, имеющих развернутое представление, какими именно, и символически воплотивших его или в фигуре лидера, или во внятной программе. Будь они – можно было бы говорить об оппозиции.

Нынешняя власть не озабочена проблемой эффективного управления, она стремится символизировать нас всех, Путин играет роль сегодняшнего общего символа. С другой

стороны, для людей такая фигура важна с точки зрения психотерапевтической: местные власти могут безобразничать, но есть ОН, который в случае чего, может быть, все-таки наведет порядок. В 2000 году на это надеялось более 70 % населения, сегодня Путин не собирает и 60 %, притом что он имеет высокий уровень доверия и поддержки. Но доверие и поддержка все менее обозначают надежды, за ними стоит безальтернативность – другого никого нет. Поэтому так велика готовность и населения, и лидерских групп закрывать глаза на то, что, например, Путин два дня не появлялся, когда развернулись события в Беслане, на то, что он спрятался, когда произошла катастрофа на подводной лодке «Курск». Если открыть глаза, придется признать, что в центре круга никого нет, станет тревожно. А россияне и без того достаточно напуганы, они, если удастся, избегают тревожных состояний.

Таким образом, об оппозиционном потенциале в обществе говорить не приходится?

Народ на улицы сегодня не выйдет, об этом говорил и писал Юрий Левада, и это точно. Нам не удастся сравниться с испанцами, сотни тысяч которых вышли на улицы после теракта в Мадриде. Кстати, среди демонстрантов был король, что очень важно. Нам не удастся сравниться и с зарубежными демонстрациями по поводу событий в Беслане. Это что касается народа. Есть ли организованный оппозиционный потенциал? Я его не вижу. Партии потеряли свое лицо. Про-

изошло это не вдруг. Если мы внимательно присмотримся к кадровому составу партий, их идеологиям, траектория 90 % из них уведет нас во времена ранней перестройки, а через нее – в поздние советские времена. Тут проступает связь с продвинутыми тогда группами, определенными фракциями номенклатуры не самого высшего уровня: вторые и третьи партийные секретари, работники Госплана, аппаратчики и т. д. Они и составили костяк партий, возникших на рубеже 1980–1990-х годов. Политическая композиция того времени очень отличается от сегодняшней: главное, был очевидный противник – советский строй, от которого нужно было уйти вперед. Вначале движение было робким, при Ельцине был совершен резкий рывок, но борьба, по сути, шла между различными фракциями позднесоветской номенклатуры. Главной задачей было как можно дальше отбежать от паровоза, который вот-вот пойдет под откос. Ситуация сильно стала меняться после 1992–1993 годов. Ельцин, опасаясь утратить широкую поддержку, стал избавляться вначале от тех людей, которые воплощали идею реформ, потом от тех, кто реформы осуществлял, а дальше и от самих слов, которые реформы описывали. Иначе говоря, горизонт преобразований становился все уже и уже. Некоторое время казалось, что узость этого горизонта на пользу: вот мы, а вот коммунисты – выбирайте. Но оказалось, что выбор не в этом. Победили не левые и не правые, победили третьи. Это люди системы, вышедшие из стен, за которыми они прятались в августе 1991-

го, ожидая, как бы их в общем потоке не смело. А теперь они вышли и сказали: мы знаем, как надо, мы способны навести порядок, и мало кто им мог что-нибудь разумное возразить. По опросам общественного мнения, с 1993 года для народа главными словами стали «стабильность» и «порядок». При чем стабильность и порядок прочно связывались с твердой властью, а вот с идеей законности – лишь частично. После дефолта приходит человек, который как бы воплощает идею порядка и стабильности. Он начинает говорить: нам нужна единая Россия, мы не позволим ее расколоть, мы наведем порядок, наша держава должна быть сильной. Кто может оппонировать? Оппозиция 1990-х годов либо уже включена во власть, либо просто вышла из власти и представляет одну из властных фракций. С другой стороны, серьезно можно оппонировать некоторой системе взглядов, программе, с чем спорить в данном случае? С центром, вокруг которого и создается круг? Поэтому все стали центристами, патриотами, государственниками. Поэтому в речах и интеллигентов, и прожженных партийцев, и кагэбэшников зазвучали одни и те же нотки: державная Россия, укрепление властной вертикали, ориентация на центр и опять – особый путь. Все связалось вместе: изоляционизм, вертикаль власти с единоличным вождем, особое доверие власти со стороны общества, которое означает не доверие и взаимодействие, а отчуждение, равнодушие и отстранение: мы вам доверили – вот и занимайтесь своими делами. Президент может воплощать жесткий поря-

док и стальную руку, а может быть над реальными событиями: все как бы делают местные руководители, они виноваты, а когда ситуация делается безвыходной, я прихожу и разрешаю ее. Сейчас чаще всего ведется именно такая игра. «Когда считать мы стали раны, товарищей считать», тогда появляется президент, после чего назначаются виновные, раздаются награды и т. д. За исключением отдельных людей, сохранивших здравый смысл и перспективу, иногда публикующихся во все менее тиражных газетах или выступающих на исчезающих одна за другой независимых программах телевидения, я не вижу даже следов институциональной работы. Нет подготовки социальных форм, внутри которых разрабатывались бы концепции более разумного пути России, сближающего ее с нормальными странами, а не загоняющего ее в особый тупик – наш бронепоезд стоит на особом пути! Среди правых бродит идея то ли создания новой партии, то ли объединения остатков старых, есть какие-то планы в среде правозащитных движений. Но каков их политический и интеллектуальный потенциал, какие кадры они могут предоставить, на какие механизмы опереться, на что способны реально повлиять – вопрос абсолютно открытый.

В какую сторону, по-вашему, будет дрейфовать государство и каковы перспективы его оппонентов?

Я не сторонник точки зрения, что возвращается Советский Союз. СССР был невозможен без закрытости, без огромного репрессивного аппарата, без принудительной

бедности, без угрозы чудовищной войны, которая спланивала людей, но главное – без невероятного по объему партийно-государственного аппарата, который был выстроен в течение десятилетий на костях вчерашних соратников и десятков миллионов людей. Сейчас это невозможно, да и не нужно, тем более что непомерная цена тогдашних «побед» налицо – это состояние СССР в конце 1980-х, это и нынешнее состояние России. Та доля символического единоначалия, которая есть сегодня у власти, более или менее устраивает всех нынешних игроков. А возникающее недовольство пока что приобретает вполне привычные формы кулуарных интриг. Центральной проблемой консервативных режимов никогда не был выход в новые сферы, наращивание динамики, реальное усиление экономики, социальной сферы, действенности права и закона – это всегда было сохранение и воспроизводство властного статус-кво. Проще говоря, проблема передачи власти. История послесталинского Советского Союза показывает, что моменты изменений в стране были связаны с изменениями в верхах. В процессе передачи власти происходили в том числе и непредвиденные сбои, осыпи, подвижки, когда заметных претендентов отбрасывало в сторону и появлялся кто-то третий. А это значит, что мы имеем дело не с ростками чего-то нового, а с развалом старого: старые структуры разваливаются, и каждый момент развала дает ощущение обновления и отчасти реальные, хоть и небольшие возможности выхода из-под этого разваливаю-

щегося многоэтажного и совершенно нежилого дома. Других оппозиционных возможностей я пока не вижу. Вся оппозиция, возникшая в конце 1980-х годов, была «съедена» уже в первой половине 1990-х, оппозиционеры второй половины 1990-х – коммунисты и прокоммунистически настроенные – успешно вписались в середину: они хорошо себя чувствуют в «Единой России», «Родине» и подобных образованиях, они вросли в структуры думских комитетов, номенклатурный министерский аппарат, губернаторские команды. Оппонирование, которое могло бы быть со стороны регионов по отношению к центру, оказалось нереализованным. Молодежные движения, которые возникали в большинстве развитых и не очень развитых стран в ситуации неопределенности и перехода власти из одних рук в другие, у нас не возникли. Система социализации, индоктринации и принудительного выживания оказалась действенной до такой степени, что приглушила возможность объединения по принципиальным соображениям в расчете на внесегодняшние интересы. Адаптация и единение в выживании, готовность понизить требования и чуть-чуть присесть, чтобы не очень высовываться, оказались сильнее, чем идея стать другими. Пока в сколько-нибудь значимых группах не проявится это самое желание, воля стать другими, и оно не станет устойчивым ориентиром поведения, ни о какой оппозиции я не вижу возможности сколько-нибудь серьезно говорить.

«Интеллигенция – понятие сложное» (часть I)

Впервые: Взгляд. 2008. 8 апреля (<https://vz.ru/culture/2008/4/8/157965.html>). *Беседовала Юлия Бурмистрова.*

Газета «Взгляд» открывает цикл бесед с Борисом Владимировичем Дубиным. Это известный российский социолог, переводчик англоязычной, французской, испанской, латиноамериканской, польской литературы.

Что происходит с искусством, куда движется общество, что случилось с интеллигенцией – вопросы сегодняшней беседы.

Борис Владимирович, куда сегодня делась интеллигенция?

Я довольно критично отношусь к понятию «интеллигенция», если применять его к нынешнему и даже ко вчерашнему дню, вряд ли с моей точкой зрения многие сейчас согласятся.

Большая часть населения, считавшая себя интеллигенцией, перестала читать или перешла на чтение массовой литературы.

Два слова о понятии «интеллигенция».

В советские времена оно было заимствовано из XIX века, когда расстановка сил в обществе, его характер, культурные

ориентир и традиции были совершенно другими.

Выхвачена деталь одежды из гардероба далекой эпохи и натянута на себя во второй половине 1930-х годов, когда тоталитарной власти понадобилось, чтобы у нее, кроме всего прочего, была интеллигенция, национальная легенда, хорошие школьные учебники, исторические романы.

Поскольку сложившаяся композиция группировок на верхах хочет закрепить свое положение, она убеждает всех, включая себя, что она очень надолго, всерьез и не просто так.

Она хорошая, добрая, справедливая, законная власть, укорененная в традициях. Мы сейчас переживаем похожий период – вернее, он старается быть похожим, поэтому можно сегодня кое-что лучше понять и в тогдашних временах.

Потом эта шапка была наново перекроена уже в третьих обстоятельствах – «оттепели». Когда за счет общих социальных процессов – подъема уровня образования, урбанизированности, включения в средства массовой коммуникации – появилась более образованная часть населения.

Появилось чувство, что эта группа людей может реализовать свои представления и идеи, что она обладает важным и нужным местом в обществе.

Причем сословие никак не могло решить: состоит оно из лириков или физиков, имеет в виду интересы народа или обслуживает запросы власти, до какой черты можно служить именно этой власти или вообще любой, а за какой уже нельзя – стыдно перед собой, неловко перед своими и т. д.

Все эти вопросы не были решены, поскольку их не принято было обсуждать. Ситуация была советская, хотя более мягкая, чем в 1930-е годы, но свободного обсуждения не было.

Власти создали искусственную площадку под названием «Литературная газета». Специально для показа создали. И в результате стало складываться аморфное социальное образование, которое назвало себя интеллигенцией. Аморфное по социальному положению, по культурным ориентирам, не очень понятным.

Потом ситуация опять сменилась, климат похолодал, надо было в нем выживать. Соответственно, это образование стало тут же раскалываться, разделяться на сотни разных ручейков – религиозное обращение, диссиденты, отъезжанты, молодые поколения «дворников и сторожей» и т. д. И что, этот один котел и есть одна интеллигенция?

Мне сомнительна возможность применять всякий раз, не оговаривая, понятие «интеллигенция». Как социолог, в том числе работающий на историческом материале, я каждый раз уточняю, что имеется в виду и исходя из каких целей, в какой ситуации, чтобы реконструировать контекст, уточнить смысл вопроса.

Именно такая интеллигенция и задавала культурный тон общества. Что с ней сейчас? Во что она переродилась?

Когда пошла подвижка конца 1980-х годов, мы довольно

быстро с коллегами стали наблюдать и писать о том, что развернувшиеся и предстоящие перемены – перестройка, гласность, открытие страны по отношению к миру – могут сыграть с интеллигенцией плохую шутку.

Все-таки та интеллигенция выросла в условиях закрытого общества, довольно сильной цензуры и все время ощущала себя между молотом и наковальней.

Между населением, которому она не до конца доверяла и слегка боялась – «народный бунт, бессмысленный беспощадный», – а с другой стороны молот власти, при которой и устроиться хочется и белые одежды интеллигентские сбегать.

Все предыдущие ситуации требовали наличия интеллигенции прежде всего для власти, конечно. Интеллигенция в ответ пыталась создать не только привлекательный образ власти, но и привлекательный образ самой себя.

Все эти попытки происходили в обществе, которое было закрытым, иерархическим, зацензурированным. И вдруг возникает ситуация совершенно иная.

Вроде бы страна открывается навстречу миру, вроде бы цензурных ограничений нет, в журналах печатается абсолютно все – праздник интеллигенции, да и только.

Мы тогда начали писать, да и не мы одни, что ситуация открытости может сослужить плохую службу и после взлета эйфории будет очень сильное падение. Возникнет спрос на другой тип социальной роли.

Не на роль интеллигента, а на роль профессионала, роль, скажем, художника или писателя, работающего на рынок, роль эксперта в тех или иных областях знания.

Будет запрос на профессиональные знания, которыми интеллигенция вообще не обладает. Она очень мало что знает, скажем, о религии, морали, праве. А проблем в связи с этими ценностями будет много, и спрос на знание об этих сферах со стороны самых разных групп и слоев будет большой.

Общество получило надлом, сделало вроде бы шаг по отношению к другому будущему. И может оказаться, что с интеллигенцией будет не все так радужно, как ей представляется, если судить по тиражам журналов «Новый мир» или «Знамя».

Действительно, через несколько лет тиражи рухнули и никогда больше не поднимались даже близко до советского уровня. Сегодня их тираж – 1/25 или даже 1/50 от советского тиража.

Мне кажется, что причина таких тиражей была не только в спросе. Это был социальный заказ, журналы рассылались приказом сверху по библиотекам, институтам, даже в армию.

Правильное уточнение. Но давайте оговорим. Советский период середины прошлого века – это одно, как были созданы журналы – это другое. Толстые журналы создавались приказом сверху и получали бесперебойную работу почты, средств пропаганды и т. д.

Но начиная с 1955–1957 годов, когда «оттепель» пошла вовсю и стали печатать вещи, о которых не могли и подумать, журналы без поддержки власти или даже расходясь с ней, как было в «Новом мире» при Твардовском, удерживали большой интерес со стороны населения.

Тем более эта ситуация проявилась, взорвалась в эпоху гласности, когда советские тиражи оказались превышены в десятки раз без всякой поддержки верхов.

После взрыва пыль осела, и что мы увидели? В стране, конечно, идет чеченская война, но это же не та война, которая перекраивает образ жизни всего населения, проводя новые границы в повседневном существовании, в смысловом мире, в понимании себя и отношениях с другими, – преобладающая часть населения жила ведь мирно.

А вот тиражи сократились в сорок раз.

Были и объективные причины – резкое удорожание, нищета, требование самокупаемости любого продукта, будь то колбаса или литература.

Да, подорожание почты, сбои работы железнодорожных коммуникаций и другое, но этого слишком мало, чтобы объяснить, почему так сократилось внимание к самым разным типам прозы, стихов, музыки, кино.

Представьте себе, что за пять лет в городе с миллионным населением стало жить сорок тысяч. Это ровно в двадцать пять раз меньше. Не было ни войн, ни катастроф.

Я хочу дать понять, что в городе, в котором вдруг стало

сорок тысяч населения, вся система связей, тип отношений, понимание себя, других, будущего, прошлого не могло не измениться, это другой тип социального образования.

В социологии есть такая линия рассуждения, связанная с объемом социальных единиц. В зависимости от размера системы или числа входящих в нее единиц связи между ними сильно, а иногда радикально меняются.

Разобщение, потеря себя, размывание ориентиров. Стали нарастать явления разброда, распада, атрофии творческой воли, катастрофические настроения. Большая часть служивой интеллигенции советского образца, которая всегда жила местом, где она работает, будь то издательство, школа или поликлиника, чувствовала себя в ситуации если не поражения, то сильной социальной ущемленности. Почувствовала себя стигматизированной – как, замечу, и преобладающая часть тогдашней страны.

Это касалось их доходов, покупательной способности, роли в обществе, статуса, отношений с властью, которая перестала обращать на интеллигентов внимание. В конце концов, изменились границы страны, где они раньше жили, изменилось их представление о коллективном прошлом.

Оказалось, то, что они учили как свою историю, теперь либо не является их историей, либо заставляет задуматься, пересмотреть отношение к ней, моральные оценки и самооценки.

Власть, на которую они более или менее ориентировались,

пытаясь приспособиться, обойти, не обращать внимания, то слукавить, то подыграть, чтобы и самому сделать свои дела, больше в них не нуждается. Ей абсолютно плевать на эту часть населения, поскольку стала не нужна ни слезка, ни пропаганда. Не нужна вся эта громадная каждодневная муравьиная работа, которую люди с университетскими значками делали в таких масштабах на территории всей страны.

Наряду с этим молодая, более образованная, и чаще уже не в СССР, а за рубежами, сравнительно небольшая фракция очень успешных менеджеров от средств массовой коммуникации стала проводить политику формирования нового национального имиджа России. Россия, которая больше не противопоставлена СССР, а тоскует по советскому прошлому, поет «старые песни о главном», смотрит советские фильмы.

Так стала формироваться телевизионная программа, создаваться новые передачи и каналы, так стали писаться новые песни, возвращаться советские праздники, а главное, стилистика этих праздников.

Это началось примерно с середины 1990-х, а с 1997–1998-го захватило всю массмедиаальную систему, которая к этому времени успела сформироваться и была чрезвычайно важна – и для подкрепления власти, и для успокоения населения.

Большая часть населения, которая считала себя интеллигенцией, просто перестала читать или перешла на чтение массовой легкой литературы, не противоречащей телевизио-

ру, а скорее подыгрывающей ему.

Женский роман, детектив, боевик или криминальная драма в современной ситуации, когда человек может потерять жилье, близких, когда его детей могут взять в заложники, – вот какие типы повествований стали популярными и изо дня в день востребованными.

Ведь литература советской интеллигенции абсолютно не была похожа на ту жизнь, что показывали. Но она почему-то не стала откликаться на призыв вернуться к советскому. Этот призыв стал явен, когда пришел Путин. Он просто начал свое правление с символических знаков восстановления связей с советским.

Был ли это план его команды, или это был отклик на массовую ностальгию населения – в любом случае, это была уже другая культурная политика, чем политика Ельцина.

Ведь ельцинская политика была направлена на разрыв со всем советским. А тут народ тосковал по восстановлению связей с уже заново придуманным, отретушированным прошлым, из которого вычеркнули ГУЛАГ, голод, переселение народов, несколько войн.

«Человеческая память конструируема» (часть II)

Впервые: Взгляд. 2008. 9 апреля (<https://vz.ru/culture/2008/4/9/158305.html>). *Беседовала Юлия Бурмистрова.*

Сегодня мы продолжаем публикацию беседы корреспондента отдела культуры Юлии Бурмистровой с одним из наиболее известных в стране социологов и переводчиков Борисом Дубиным.

Почему все чаще стали воспевать хорошее в советском периоде? Что нам показывают по телевизору? Чем больно современное общество?

Для большинства в советском периоде остались и другие моменты. Моя мама вспоминает, что можно было практически любому поехать на море или что не страшно было детей отпускать погулять.

Память – это не то, что дано раз и навсегда. Она конструируема. В определенной ситуации, рамках, исходя из ресурсов, задач, в расчете на партнеров по действию – кто поддержит, кто против, кто хочет забыть.

Социологи знают, что память – гибкая штука, социально удостоверяемая или опровергаемая. С ней всегда кто-то работает.

Если не мы сами, то кто-то другой – кто показывает те-

левизор или пишет учебники. Память держится социальными формами, и прежде всего институтами – школой, семьей, медиа.

Поэтому стали в «советском» подчеркивать сначала мягко, осторожно такие черты, как «не все было плохо, мы были молоды, любили, делали детей, пытались реализовать свои планы, и, в общем, кое-что получалось».

Стали высветляться одни черты, а другие уходить в тень – скажем, те, которые затрагивали не коммунальное существование, не частную жизнь человека в семье, а существование в качестве гражданина большого целого. Отсутствие свободы, прикованность к месту пропиской, страх загреметь, обратиться в лагерную пыль... Если они упоминались, то про это теперь говорили: они пытаются чернить наше общее прошлое, они хотят видеть в нем только плохое.

Уходило и оттеснялось то, что касается ответственности самого человека. Зрелая, развитая, нормальная личность отвечает за все, чему и кому дала жизнь, сказав: «Это есть», или, лишив жизни, сказав: «Этого нет, или оно не важно, ничего не стоит».

Но это вообще свойственно человеку – забывать плохое. Простой пример – жили, любили, развелись, а встретившись через десять лет, спокойно разговаривают, пропустив прошлое.

Верно. Но ведь аналогия между обществом и человеком имеет свои границы. То, что человек не хочет помнить о тя-

гостном, все-таки, если он развитый человек, не должно за-
слонять прошлое, ни его собственное, ни общее с другими.

Любой психиатр скажет, чем кончаются такие попытки. Неврозами и превращением в соматические заболевания, начинающиеся с того, что ты не хочешь помнить о том, что составляет самого тебя. Отрезаешь нечто сначала в своем сознании, а потом у тебя отказывает какой-нибудь орган.

Конечно, желание помнить хорошее и светлое – это нормально. Но не ценой общего прошлого, отказа от признания вины и ответственности за то, что было сделано для нации, для страны, для государств. Нельзя иметь ненадеванное прошлое с иголочки, ни в одной стране, тем более в нашей.

Нельзя забывать плохое – оно составляет часть тебя самого (будем помнить Пушкина: «И с отвращением читая жизнь мою...»). Если ты за это не отвечаешь, оно начинает вести себя собственным образом и ты перестаешь его контролировать – это и есть болезнь. Болезнь – то, что ты уже не можешь контролировать в себе.

Если по аналогии, то мы находимся на начальной стадии болезни общества?..

Я бы сказал, что мы из нее и не выходили. Начиная с послевоенного периода, когда казалось, что все укрепилось, народ-победитель стал восстанавливать страну.

А это было началом распада конструкции, построенной до войны, на костях, с невыносимым напряжением и ценой обмана самих себя. Такое не могло удержаться за пределами

одного поколения.

Творцы стали стареть и умирать, и стала разваливаться сама конструкция. Но она была создана настолько огромной, в нее было вложено столько сил и жизней, что она до сих пор еще распадается. Мы живем в условиях этого распада, в нездоровой обстановке, которую он создает.

И вот от того, насколько мы понимаем себя, других, нашу общую жизнь, до какой степени контролируем ситуацию, пытаюсь что-то сделать, до такой степени мы здоровы.

А если мы говорим: «Да что там, все хорошо, трамваи ходят, зарплату два раза в месяц получаем, нефть продаем, ну да, несколько раз в неделю ценники на продуктах меняются, что ж, придется привыкнуть»...

После очень короткого времени, когда люди как будто стали протирать глаза и приходить в себя, им стало тяжело от того, что они увидели. Они стали возвращаться к закрытым глазам, к слепоте в отношении своего прошлого, к безответственности.

Мы сейчас опрашиваем: «Советская страна причинила много бед разным народам, вы согласны? Может быть, пора признать свою вину?» В основном отвечают: «Перегибы были, но ведь великая держава».

Я ни в коем случае не защищаю СССР, но мое детство прошло слишком гладко. Положение родителей давало определенные преимущества, а мне как ребенку казалось, все так живут. Только поступив в университет,

я переосмыслила происходящее в стране.

Страна была так выстроена, что – и чтобы – люди мало что знали друг о друге. Но ведь эти перегородки никуда не делись. Больше того, перегородки сидят в каждом из нас, мешая увидеть, что с нами происходит.

Само устройство большого целого, называемое «Советский Союз», очень сильно изменилось за эти годы. Но это не привело к изменениям в сознании большинства людей, населяющих страну. Поэтому они чувствуют постоянный груз чего-то, чего они сами не могут назвать.

Это не груз обстоятельств – вроде бы жить стало легче, но объем массовых страхов не уменьшился, скорее наоборот, увеличился, но при этом изменился их удельный вес.

Уровень агрессии пусть не так выплескивается, но больше запрятан внутрь. Он выражается в том числе в ощущении угрозы со всех сторон, включая угрозу со стороны этнических чужаков, военную угрозу России со стороны Запада.

Те, кто должны были служить сознанием общества, – интеллигенция, интеллектуальная элита оказались не способны выполнить эту задачу. Потому что она перед ними никогда и не стояла. Задача в советские времена была другой, какую бы легенду они о себе ни создавали в советское и постсоветское время.

Их задача была рассказывать, как хорошо жить в таком обществе, и если не все хорошо, то это временное, а страна и люди замечательные. Указав на дефициты в обществе, из-

бави бог начать его переделывать, об этом речи никто не заводил, даже правозащитники и диссиденты, а уж тем более средние люди или те, кто сидели на иерархических верхах.

В результате имеем то, что имеем.

Оказывается, можно при внешне демократическом облике – парламент, как бы независимый суд, вроде бы не испытывающие прямого цензурного давления средства массовой информации, – можно таким образом выстроить целое, что у людей не будет выбора, альтернативы и они внешне примут такое положение.

Если бы только не постоянные данные: неблагополучно с моралью – 80 %, с культурой – 75 %, страхи – у трех четвертей. Население живет в страхе, что они и близкие могут стать жертвой бандитского нападения, террористического акта.

Агрессия по отношению к любым чужакам – 60 % и выше.
Современный диалог:

– Лозунг «Россия для русских» давно пора провести в жизнь, он, мол, хороший.

– Но ведь он фашистский.

– Ну какой фашистский, мы же живем в России, а Россия – страна русских.

Пока ситуация будет такой, это будет больное общество, какую бы оно ни делало мину, что все не так плохо, как бы ни наводило на себя марафет. И это будет постоянно сказываться на его настроении, эмоциональном фоне, и, главное, если мы говорим о творческой интеллигенции, то на творче-

ских способностях.

Они поражены враньем, ситуацией постоянной лжи и замалчивания того, где мы, что мы, что нам предстоит. Падение продуктивности – любой! – неизбежно. Даже социальное давление может, хотя и ненадолго, оказать стимулирующее действие, но ситуация равнодушия на творческие способности действует пагубно.

Отсюда потеря значимости искусства, словесности, музыки, кино. Той самой способности, которая была, когда началась европейская культура Новейшего времени.

Искусство стремилось, по Стендалю, быть зеркалом, которое несут вдоль дороги, показывая обществу его язвы. Говорить о том, чего в нем нет, а не воспевать то, что в нем силой и кривдой насаждают, поддерживая определенный порядок, равновесие, именно через работу механизмов культуры, которые не позволяют довести возникающие в обществе конфликты до болезненной взрывной стадии. Опосредуют, смягчают, дают возможность и время понять.

Ведь как действует терапевтический сеанс? Что нового может рассказать врач-психоаналитик? Только то, что сам знаешь, но взглянув на себя со стороны.

И так можно выйти из болезненного состояния и контролировать, что как-то смягчает беды и боли. А способность рассказать, проговорить имеет терапевтический эффект. Пока молчишь – болеешь, а рассказываешь – начинаешь потихоньку вылечиваться.

Потеря большого нарратива совпала с некоторыми тенденциями, которые сложились в мировой культуре. Тут нельзя путать. Наши условия не то же самое, что во Франции. Наш нарратив был триумфальный, победный. То, что произошло с Францией или Германией, – совершенно другая история.

Европейское общество перешло в другое состояние, когда заданная в XVII–XIX веках программа культуры уже реализована. Культура общедоступна и в новом состоянии стала для себя проблемой. Надо наново посмотреть на начало, на концы, увидеть, из чего она состоит сегодня.

Получается, что наша ситуация другая?

Мы выходим из состояния государственного принуждения и в известном смысле боеем из-за того, что тоскуем по своей тюрьме. «Он по тюрьме своей вздохнул» (Байрон – Жуковский).

Нарратив никуда не девался, он просто должен быть другой. Трагедия не ушла, она принимает другие формы, уходит в другие типы повествований. Может, в новостные передачи, или документальный фильм, или фотографию.

Трагедия не может сейчас быть высоким общегосударственным жанром, который показывается с лучших государственных сцен государственных орденоносных театров. Но это не значит, что трагедии нет. Она меняет основание, форму, героев. Она грозит отменить хор, потому что хор – это некое единство народного сознания, совести и памяти.

Сейчас ситуация вопросов, а не ситуация, когда все ответы известны и осталось только соревноваться, кто быстрее их выкрикнет, как уверяют нас успешные менеджеры мас-медиа.

Мол, какие могут быть большие нарративы, давайте развлекаться, заказывайте концерт, кого хотите видеть в телевизоре. Экран телевизора сегодня в России – экран не столько потому, что он показывает, а потому, что скрывает, экранит.

Однако это скрытое тоже можно и нужно учиться понимать.

«Осознания кризиса в стране нет» Стокгольмский синдром по- русски: кризис пробуждает в обществе логику заложников

Полная версия интервью из личного архива Бориса Дубина. Сокращенную версию см.: Частный корреспондент. 2009. 3 февраля (<http://www.chaskor.ru/p.php?id=3156>). *Беседовала Юлия Бурмистрова.*

Новый год мы встретили с кризисом. Что изменилось за последние месяцы? Какие изменения может принести кризис, и в частности в культуре?

Не думаю, что есть прямая зависимость между колебаниями мировой конъюнктуры на нефть и состоянием культуры. Таких прямых параллелей никто проводить не будет.

Но есть другой фактор: судя по опросам, осознания финансового и экономического кризиса у населения пока что нет. Да и непонятно, откуда бы оно взялось, когда верхняя власть, которую видят по телевизору, если и произносит слово «кризис», то в простом, рабочем порядке: «Прорвемся, о чем речь. Мы же на месте, мы все сделаем».

Безусловно, люди на себе уже почувствовали сокращение – мест, зарплат, возможностей. Начали отказываться от одного или другого, тактика привычная – уменьшить запросы,

как бы съжаться самому. Уехать отсюда? Но за границей их никто не ждет, там ситуация тоже непростая. Из-за этого есть некоторое беспокойство, мелкие суетливые движения.

Тем не менее осознание кризиса, а значит и мысль о чем-то ином, не вызрели ни в населении, ни в интеллектуальной прослойке.

Какие цифры показывают опросы по населению и интеллектуальной прослойке?

Хороших опросов по интеллектуальному слою нет, а что касается населения, то примерно четверть и даже треть почувствовали изменения на себе. Цифра немалая, но изменений в сознании, ориентирах, конструктивных действиях на коллективном уровне пока нет. Каждый в одиночку, тоже старая тактика.

У людей есть ощущение, что прошедший год был не самый лучший, что он оказался тяжелей, чем предыдущие. Особенно по сравнению с 2006–2007 годами, которые теперь представляются как золотой век. Не исключаю, что и в коллективной мифологии будет попытка представить эти годы расцветом.

Для населения начиная с лета 2008 года пошло ухудшение ситуации. Однако ни в рейтинге первых лиц, ни в общей оценке сегодняшней политической ситуации изменений нет. Президент говорит правильные (для большинства) слова, правительство на месте и работает в целом правильно.

То есть, кроме появления тревоги, ничего, по сути, не

изменилось?

Изменилось, и достаточно резко, только одно – представление о том, что дальше будет так же. Зашаталась одна из главных опор нынешней власти – ощущение стабильности. Другие опоры – привычка, готовность ужаться, пугание себя и других, чтобы не было хуже, – пока что держатся.

Так называемая стабильность нулевых или совсем узкой полоски 2006–2007 годов не была стабильностью улучшений. Некоторые финансовые улучшения действительно произошли во всех слоях, немного ушла привычная тревога. Но ведь если искать синоним стабильности, то это не будет слово «подъем», это будет слово «плато». Стабильность последних лет, это когда все как было, ничего всерьез не меняется и меняться не будет. Слова «подъем», «изменения» почти не произносились. Такая ситуация и воспринималась населением как стабильность.

Сейчас оценка экономической ситуации на будущий год (в стране, в собственной семье) у населения очень плохая. Оценка политической ситуации на будущее, чего давно не было, очень тревожная. Люди не исключают перемен к худшему, неприятных событий. Как будто бы возвращается привычная для 1990-х годов тревога за свое будущее.

А откуда политические страхи, если рейтинги первых лиц высоки?

Верхушка в сознании населения, если говорить о первом лице, которым все равно в понимании народа является Пу-

тин, вообще никогда не отвечает за ухудшения. Первое лицо отвечает только за порядок и улучшение. Так построена здешняя политическая культура.

Именно в нашей стране?

Да. Представление о том, что первое лицо есть воплощение, во-первых, надежд на все лучшее, во-вторых, управа на негодную власть на местах. И самое главное – третье: первое лицо олицетворяет все целое, его главная функция не столько в примирении внутри страны, а в представлении «нас» вовне, за рубежом. Глава государства должен сделать так, чтобы нас снова начали «уважать», считаться, обращать внимание.

Это не зависит от конкретного лица, это функция, место. Первое лицо не отвечает за скверные дороги, негодную для жизни экологию, плохую работу судопроизводства, взятки, преступность, падение нравов. И пока население связывает ухудшения, которые неминуемо будут, с таким устройством в стране, картина не изменится.

Рейтинг Путина и Медведева лишь немного изменился, достигнув пика доверия в сентябре 2008 года, сегодня он сократился, но совсем незначительно. Тем более что все изменения и ухудшения в стране ложатся теперь в общемировую картину: у всех плохо. Поэтому политические страхи связаны не с первыми лицами, а с направлением, по которому идет страна. Сейчас почти что равны доли тех, кто считает, что в правильном направлении и что не туда.

И все же общее представление пошатнулось. Привыкнув считать, что все стабильно, люди не понимают, как опознать изменения и что в ответ делать. Населению непонятно, с чем эти перемены связаны, а власть всячески будет пытаться представить ситуацию исключительно как мировые тенденции. А может быть, и вовсе как прямую «руку» США или НАТО, мировой закулисы, только чтобы снять с себя ответственность.

Теперь – что касается культуры и людей культуры.

Ощущение, что в этом слое – за редчайшими исключениями – практически не осталось особых зон, где сохраняется чувствительность к тому, что происходит в стране, в мире, с человеком, в отношениях между людьми. Скажем, насколько люди привыкли и не считают проблемой самые простые вещи: грубость, грязь, невыполнение слова, фактический саботаж в собесе, суде, школе, больнице и в прочих институциях. Мне кажется, что такое привыкание к грязи и безвыходности – это подвижки в антропологии, в коллективном сознании, общем эмоциональном фоне, коллективной памяти.

Чувствительность к человеку, происходящему с ним, сохраняется в совсем локальных зонах – для меня это сфера документального кино (плюс близкого к нему документального театра) и современной отечественной поэзии, «антропологическая» работа, вызревание и осознание нового человеческого опыта идет именно в них. Там иногда чувствуешь даже некоторое общее дыхание и общую заинтересован-

ность в том, что происходит в стране. Причем совсем не важно, в какой сфере происходит – политическая ли, душевная, семейные отношения, космос. Там, по-моему, есть попытки выразить чувство времени и образ человека на языке, который приходится создавать здесь и сейчас.

В целом же в 2000-х годах интеллектуальное сообщество занималось самоустроением. Кто есть кто, разделение площадок. Поэтому стали работать новые премии, тусовочные мероприятия, стали обозначаться центры силы, центры притяжения, складываться некая структура и какой-то порядок, узнаваемость в поведении. Большинству стало понятно, что если хотят этого, то надо идти туда-то и т. д.

Но такой порядок, хочу подчеркнуть, во многом стал складываться именно ценой утраты чувствительности к тому, что происходит за границей интеллектуального слоя. Интеллектуалы как будто бы добились некой автономии, но потеряли социальный вес. А ведь их место в обществе и в культуре, культуре как памяти, связано в новейшие времена как раз с чувствительностью к тому, что происходит с человеком, памятью. Возьмите сегодняшних интеллектуалов в Германии, Франции, Италии, уж не говорю о Польше, Чехии, Венгрии, – они как институт автономны, но в персональном плане явно и осознанно ангажированы. Не конкретной партией и не группой (хотя к ним в большинстве случаев принадлежат), а именно своей ролью, собственным пониманием этой роли в общественном целом и ответственности за нее.

Сложная физика и геометрия человеческих притяжений, отталкиваний и есть самое важное и интересное. Едва ли не весь антропологический опыт, который есть в России, проходит мимо, оказывается не востребован интеллектуальным сообществом (об исключениях я уже сказал).

Именно из-за потери чувствительности нынешняя российская словесность и культура (культура творческая, а не эпигонская и не конвейерная продукция) занимают довольно скромное место в сравнении с тем, какое место занимали в свое время, скажем, поэзия Маяковского или Пастернака, кино Эйзенштейна или Медведкина, театр Мейерхольда или Курбаса. С тем, какая в 1920–1930-е годы была степень ориентации на Россию в Германии, Франции, Италии, Испании. Последний и недолгий всплеск мирового интереса был в конце 1980-х годов. Тогда у людей Запада возродилась, а у некоторых родилась надежда, что не только поднимется потонувшая Атлантида советского подполья, но и возникнет нечто новое, мимо которого не пройдешь.

Конечно, отнюдь не все в большом мире готовы стать сегодня на позицию, которая, к сожалению, есть, – закатать Россию, как Чернобыль, в некий бетон, пока там не устаканится, а потом кто-то вскроет и посмотрит, что есть. В более мягкой форме позиция Запада к России и российской культуре по большей части сводится к тому, что ничего особо интересного для всех в ней не происходит. Можно сказать, что мир виноват, а можно посмотреть на себя. И спросить:

а что такого за двадцать лет сделано, что может заинтересовать кого-то за пределами того или иного кружка?

Возьмем, к примеру, кино. Все, что в последние годы создано в кинематографе, либо уровня комеди-клуб, либо драматизированная чернуха, моментально становящаяся арт-хаусом, авторским кино. Не важно, плохо снято или хорошо, я не об этом. Самыми лучшими фильмами становятся фильмы про плохое в человеке. Почему? Сможет ли кризис создать запрос на историю о хорошем человеке?

Думаю, что это не придумка Балабанова и не холодный, циничный расчет на фестивали. Через его и некоторые другие фильмы (скажем, документальные ленты Александра Расторгуева) прорывается то, что реально происходило в последние десятилетия с людьми. А через самое последнее проступает и то, что делалось в предыдущий период. С одной стороны, разгул жестокости, а с другой – атрофия какой бы то ни было чувствительности, нараставшая в 1990-х годах в обществе в целом.

Через жестокость, бесчувственность, привычное равнодушие к человеку, притерпелость к своему и чужому неблагообразию выходят напряжение, проблемы, страсти, уродства и мучения других, предыдущих поколений. Тогда это не было выговорено, потому что не было возможности выговорить, не было сил выговорить, не было языка выговорить (проза Шаламова все-таки была).

После 1955–1956 годов вроде бы хлынул водопад литературы о ГУЛАГе, но он был совершенно несоизмерим с тем, что реально произошло. Он был антропологически, да и эстетически, эпигонским, а потому беспомощным и лишь в малой степени выразил тектонические перемены, стирание границ допустимого, границ равнодушия к тому, насколько человек может обойтись без всего.

«Не верь, не бойся, не проси» – сначала у Солженицына, а потом, дико сказать, у дуэта «Тату» – страшный завет. В каких условиях он возник? Понятно, что в ситуации лагеря, где невозможно выжить, это становится максимумом, как будто бы дает шанс выжить (не жить – только выжить). Но превращение в общую максимуму чудовищно и выражает радикальные сдвиги в отношениях между людьми.

Как это – не верь? Как – не бойся? Как – не проси? Именно верь, именно бойся, именно проси. В этом – человеческое, а не в отказе ото всего. И то, как это легко прошло внутреннюю, личную цензуру многих людей, говорит о том, что реально не было замечено. Только единицами, и прежде всего опять-таки Шаламовым, а не Солженицыным. Но замечено точно, выговорено вглухую, и тут же замолчано, заасфальтировано, а вот потом стало прорываться невыносимой и словно бы немотивированной жестокостью и равнодушием.

Наверное, кто-то на чернухе конъюнктурно делал себе имя. Но это облетит, уже облетело. Как ни странно, именно такие, будто бы «чернушные», фильмы и являются попыткой

вернуть искусство и культуру к разговору о том, что произошло с человеком в России в XX веке.

Ведь новейшее искусство из этих проблем и в этом контексте возникло. С древнейших времен и до наших дней всегда что-то пели и сочиняли, но это другое, а искусство, в том понимании, в котором мы его сейчас воспринимаем, родилось на подходе к XIX веку. Когда искусство повернулось к человеку, к взаимодействию и общежитию людей, к обществу. Придумало человека как такового – от маленького до идеального и до сверхчеловека.

И разделилось на психологию и искусство.

Там очень интересная история. Искусство действительно оторвалось от науки – очень драматический процесс для XIX века. Но искусство, как показывают исторические разыскания, вместе с тем шло рука об руку с наукой, с социологией, психологией. Возьмем натуралистический роман Золя, импрессионистическую лирику Верлена или беспредметную живопись Кандинского и Малевича. Искусство показывало, а наука объясняла. Вытащить на свет спрятанное, то, что сам человек утаивает, но из чего состоит. Новейшее искусство возникло из этого – из дефицитов человеческого, из мучений, страхов и надежд человека.

Потеря контакта с этой сферой угрожающа для творческого человека. Конечно, трудно жить все время обращенным к человеческим потерям, хочется отвернуться. XX век показал, что едва ли не все возможно человеку с человеком

сделать. А уж не с человеком еще страшней – с деревом, собакой, полем или ручьем.

Большая часть интеллектуального сообщества оказалась в ситуации, когда для этих явлений не может быть готового языка. И несколько советских подцензурных десятилетий полного извращения идеи литературы как искусства обернулись едва ли не полной разоруженностью искусства перед явлениями такого рода.

Это же не в первый раз возникает. Что-то подобное пришлось вытаскивать практически одному Достоевскому. Он начал показывать в человеке то, что было вообще не похоже на все, в чем живет интеллектуальный слой. Была по большей части не узнанная и не признанная современниками антропология Чехова. Потом был прорыв в самых уродливых и некультивируемых формах – скажем, у Сологуба. После революции – у Бабея, Зощенко, Платонова. В совсем недавние времена – у Анатолия Гаврилова.

Нужно создавать язык и говорить обо всем, что происходит с человеком. Но делать это в России приходится без навыков методической религиозной рационализации жизни, без громадной воспитательной работы Просвещения, без идеи и программы культуры, которые были даже в таких драматически развивающихся странах, как Германия.

Чернуха не конъюнктурна, конъюнктурны подражатели. Чернуха – попытка выработать язык понимания того, что происходит в вулканической сфере человеческих отноше-

ний при исторической некультивированности человека в России. В стране, где историю все время не делают, а пре-терпевают.

Но тут возникает вторая сторона проблемы – даже если создадут новый язык, он должен быть прочитан, а кем?

В 1990–2000-е годы произошла чудовищная по скорости и географическому масштабу массовизация культуры (лучше сказать, культурной продукции и культурной коммуникации) в России. То, на что в Европе ушли столетия, у нас вместились в полтора десятка лет. К такой «цивилизации» ничего не было готово – ни школа, ни критика, ни массовое восприятие. Кинопроизводство на 97 % сократилось, тиражи – в 50–100 раз. Это как если бы был миллионный город, а через три года в нем осталось 20 или 10 тысяч человек, и притом без какой-либо войны.

Образованное сословие отложило в сторону серьезные книги и перешло на мягкую обложку, продающуюся у метро, а еще чаще – на телевизор (кроме всего прочего, еще и самое дешевое развлечение). Добровольно. Это не познано, не признано, и следствия из этого не извлечены. А живем мы в мире следствий. На них выросла культура глянца, красивого и блестящего – модная книга, модный фильм, модное кафе, модная юбка.

К тому же вся культура делается в Москве. Если не стоит столичная метка, то для большинства, для «всех» как буд-

то бы не существует ни кино, ни театра, ни музыки. Дурное устройство, которого ни в одной развитой стране мира нет. Такое, возможно, есть в Северной Корее, в Китае или на Кубе, но не в Европе. В Южной Корее, где 40 % населения живет в столице, все-таки сейчас стараются растягивать современную цивилизацию, начиная с шоссе и железных дорог, по всей стране.

И тут вопрос о денежном пузыре. В 2000-х годах, хотя началось это в конце 1990-х, пошел разбор между людьми больших денег и всеми остальными. Массмедиа, прежде всего телевидение и глянец, отделились от всей страны. В том числе благодаря нефтяной подпитке. За десять-пятнадцать лет создалось не только целое сословие собственно авторов, но рядом с ним все от него кормящиеся, а это уже миллионы людей.

Слой раздутых денег предъявил запрос на свое искусство, на свою культуру. Гламур и глянец – во многом ответ на их запрос (кстати, глянец и гламур затронули не только моды и витрины, мы их видим сегодня и в политике, и в науке). Конечно, не сами дяденьки-воротилы это заказывали, а их жены, дочери, зятья.

Денежный пузырь создал весь этот гламурный рай, отраженный в пародийной форме и на телевизионном экране. Ведь то, что показывают по телевизору, – гламур для бедных. Богатые телевизор не смотрят – их там показывают.

Это пусть в пародийной и грубой форме, но отчасти напо-

минает процессы, происходившие в Европе, в той же Франции, примерно с 1870 по 1914 год, в период, который потом назвали Прекрасной эпохой. Когда сформировался новый свет (а точнее – полусвет) и его заказ на новые искусства. Не важно, что это было – оперетта или фотография, туризм или высокая мода.

Примерно то же – через век-полтора и в совсем другом мировом окружении – происходит у нас (вернее, происходило – кризис перевернет и эту ситуацию). Быстрые деньги, быстрое время, мимолетное искусство, россыпь новых звезд на сцене и звездочек на погонах. Длинного времени нет, надо все делать очень быстро – мелькание мод, рейтингов, премий. Как будто куда-то бежим и надо все время замерять, кто первый, кто ярче.

В новейшей культуре всегда есть быстрое и короткое время, но важно, какое место оно занимает. Есть длинное время традиции, циклическое время институтов, время фантазии, воспоминания, предвосхищения. Разновременные культуры соединяются, должны соединяться в одном общем времени, а не вытеснять и не сменять друг друга. Синтез времен и составляет задачу творческого сословия, каждого отдельного человека.

Рано или поздно гламур ведь закончится, ну или потеснится. Кризис лишит гламур его воздуха – быстрых денег.

А вот тут как раз о государстве и госзаказе. В «Школе зло-

словия» Лев Рубинштейн сказал примерно такую фразу: гламур станет государственным стилем. И он в большой мере прав.

Политика, которая сегодня есть в России, – не реальная, закулисная и подкованная, по-настоящему определяющая происходящее в стране, а обращенная к людям, то, что они видят, слышат и чему выставляют рейтинги, – это, конечно, политика гламура.

Политика в собственном смысле слова – разнообразие публично конкурирующих сил и их программ – была устранена за вторую половину 1990-х и 2000-е годы. Осталась пародия на политику, потому что нет ни разнообразия интересов, ни разнообразия форм выражения этих интересов, ни реальной свободы их выражения. В политике, как и в культуре, сейчас как будто бы есть только то, что на растяжках, в телевизоре, в киосках. Поэтому она так же гламурна, как и культура.

Должно ли это кончиться? Я думаю, что оно будет видоизменяться, причем в двух направлениях.

Во-первых, за 1990-е годы государство выпустило бразды правления в области культуры, но сегодня очень рассчитывает вернуть рычаги управления (власти без ответственности, как вся власть в России). Это видно на заказах кино, в области издания и, особенно, распространения книг, журналов. Такие процессы будут развиваться и в других видах искусства.

Я плохо знаю театр, но готов предположить, что очень большая часть успешных режиссеров, а тем более неуспешных, была бы заинтересована в господдержке, введении тарифных сеток, ставок и всего остального, что было раньше. Только совсем небольшая часть заинтересована в обратном. Потому что для нее происходящее в театрах – это то, что происходит в Берлине, Авиньоне, Лондоне, а не то, что происходит в Министерстве культуры.

Но в целом государственное, сросшееся с гламурным, будет и дальше продолжать мнимо победоносное гламурное шествие, вытесняя все, что туда не попадает.

А во-вторых, будет все больше размежевания между сферами, которые хотят слышать звук современности во всей его сложности, в чем-то даже неприятности и угрозы, и сферами, полагающими, что ничего не происходит.

Изо дня в день катастрофы, взрывы, убийства, дела не расследуются, суд известно какой, взяточничество цветет и пахнет, но на телеэкране других проблем, как отношения между Катей и Мишей, нет. Вернулись «женские истории» конца 1970-х, тогдашние «эстрадные концерты», «фигурное катание». Чувствующая и чувствительная сфера не будет уничтожена и не сожмется, как шагреновая кожа, но довольно заметно отделится от остального.

Возникнет ли еще один «Фаланстер» – не уверен. Сила интеллектуального слоя, который определял спрос, не стала больше – слой по объему такой же, как и был тридцать лет

назад. А вот творческой энергии у него, похоже, стало меньше. Но, даже выживая, как все остальные, он все-таки не хочет и не может потерять свою основную функцию – ищущую, рефлектирующую, аналитическую, осознающую. Голос людей, выражающих нечто первыми, пусть не всегда членораздельными звуками и суждениями. Если люди писали в лагере, то будут писать и в нынешней России.

Я не думаю, что кризис серьезно повлияет на жизнь России: силовые и денежные возможности властей, с одной стороны, привычка и нетребовательность большинства – с другой, смягчат происходящее. Но вызов кризиса будет. И от того как интеллектуальный слой ответит на этот вызов, будет многое зависеть, прежде всего – для него самого. Другой вопрос, что этот вызов большинство интеллектуалов будут пытаться смикшировать, чтобы не поставить под вопрос собственное существование.

Если во всем мире кризис протекает как финансово-экономический, то в России это выражается в политическом кризисе. И власть, и интеллектуальное сословие, обслуживающее власть, употребят все силы, чтобы не допустить политического кризиса. Задача заговорить, заболтать и с помощью денег, страха спустить на тормозах. И преобладающая часть населения уверена, что так и будет.

То есть воспользоваться кризисом, чтобы обнулиться по всем параметрам, нет шанса?

Почти не вижу. Хотя за последние сто лет – это первая ис-

торическая возможность для России, а не подаренная сверху.

А раньше было подаренное? Даже 1998 год?

Конечно. Так или иначе подарено сверху. Сначала перемены, потом дефолт, потом стабилизация и порядок, потом стабильность. Ценой разгрузки от ответственности всех и за всё.

Кризис, будь он всерьез воспринят, был бы первой серьезной возможностью принять на собственную ответственность и попытаться что-то сделать реально коллективное. Не переходя на шепот, не выживая и приспособливаясь, а, напротив, доводя вопросы до ответов, а далее переводя в действия. Но такая возможность, скорей всего, будет упущена.

Значит, мой первоначальный вопрос об изменениях в стране и культуре был бессмысленным?

Я гадать не хочу и не умею. Но общий расклад сил представляется мне таким. Какой выход из ситуации найдут малые группы творческих людей – не знаю. Я бы надеялся на то, что ситуация не заставит их замолчать и перестать работать.

Но общая расстановка не дает надежд на серьезные изменения. Опять страна и большинство в ней оказываются в плену старой модели. Кризис скажется вряд ли раньше, чем через год-другой, но разгореться ситуации не дадут, а энергия снизу пока что слишком мала, так что, вероятнее всего, власть сумеют сохранить и передать, по крайней мере на

ближайших выборах. Я говорю сейчас не о самих людях, а о том, как выстраивается и преподносится стране конструкция, «картинка».

Пока государство терпимо к культурным новациям. Но оно же работает не как внешняя цензура, а как внутренняя. Издательства сами будут отказываться от резких книг, продюсеры – от резких сценариев, режиссеры – от резких спектаклей. Работает заложническая логика – не ставить никого под удар. Один из основных видов коллективизма по-российски: каждое действие продиктовано мыслью, а не будет ли нам хуже.

Дилеммы и смыслы российской политики

Впервые опубликовано в одном из студенческих сборников факультета журналистики МГУ. Точная дата публикации не найдена, публикуется с разрешения интервьюера. *Беседовала Ксения Гулиа.*

Исследование Центра политических коммуникаций факультета журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Вопрос «Куда идет Россия?» остается актуальным на протяжении двух последних десятилетий. Но неоднократные попытки сформулировать содержание проекта развития страны так и не стали полноценным ответом. Почему вопрос «Куда идет Россия?» становится похож на те, о которых Э. Хемингуэй сказал: «Только лучезарные дурачки задают вопросы, на которые нет ответов»?

Во-первых, важно понять, чей это был вопрос. Не думаю, что накануне распада СССР или в 1986 году, когда Горбачев впервые начал произносить слова, новые для российской политической авансцены, бóльшая часть советского населения задавалась этим вопросом. Не думаю, что им стала задаваться и бóльшая часть российского населения после того, как Советский Союз распался и Россия волей-неволей стала

отдельным государством. Все-таки этот вопрос был преимущественно вопросом прореформаторской, пролиберальной интеллигенции. Это небольшая группа (со своим более массовым слоем поддержки), она в тот период близка к власти и задается этим вопросом именно потому, что, как предполагает, у власти есть рычаги и возможности давать осмысленные ответы на этот вопрос и задавать движение вперед. Интеллигенция в какой-то мере сумела внушить этот вопрос и даже некоторую повестку дня, связанную с этим вопросом, главным людям государства. Сначала ее воплощал Горбачев, борясь со «староверами» в Центральном комитете, на Съезде депутатов, а потом Ельцин. На Ельцине и чеченской войне все и закончилось.

Во-вторых, этот вопрос очень старый и, похоже, возвращается все время в одинаковых ситуациях и заканчивается тоже очень похожим образом. Импульс перемен в России XX века всегда шел сверху. Не было такого, чтобы его поднимали народные движения или политические партии. Перемены происходили из-за раскола наверху. Раскалывались не просто фракции, чаще всего это было при смене поколений политических лидеров. Когда Хрущевым, Горбачевым, Ельциным привносились перемены, сами они осознавались как новые, «молодые». Если это так, то тогда Россия или те люди, которые задаются подобным вопросом, ходит по кругу. И каждое поколение (или через поколение) мы снова попадаем в проклятый круг этих вопросов.

В России традиционно друг другу противостоят население, интеллигенция и власть: население так или иначе принимает то, что происходит, интеллигенция пытается повлиять на ситуацию, по крайней мере вводя какие-то слова, понятия, лозунги, а власть использует это для своих проблем и интересов. В рамках такой композиции нет разнообразных, относительно самостоятельных, борющихся за авторитет и за признание элит, нет институтов, которые позволяли бы вести полемику, спор о том, что делать в первую очередь, что – во вторую, каковы ориентиры, вести этот спор в цивилизованной форме: через парламент, открытую печать, политические клубы. Из-за того, что всего этого нет, всегда и получается некоторое движение к «оттепели», быстрая – кто насколько успел – попытка воспользоваться ослаблением контроля со стороны власти и некоторым допущенным (неизвестно насколько, но всегда есть сознание, что на короткое время) разнообразием для решения некоторых проблем. У одних проблемы социального статуса, у других – свободы, у третьих – возможности выезжать, у четвертых – еще что-то. Но это время быстро кончается, занавес захлопывается, цемент застывает: опять наступает что-то вроде очередной зимы. Повторяется этот ход, но не повторяется реально сама ситуация, потому как что-то успевает измениться. Я не могу сказать, что наша страна, население, российские власти, силовики, массмедиа живут в той же ситуации, что и в позднесоветские, брежневские, например, времена. Ситу-

ация изменилась и в экономическом, и в политическом, и в социальном плане. Изменился и состав людей, и отношения между ними, и отношения между Россией и Западом. Но единственный общий символ, о котором в такой ситуации можно говорить, – это путь России. Опять Россия мыслится как некоторое единое целое, причем целое, которое недостаточно признано или неправильно признано во всем мире, и Россия опять борется за то, как она выглядит в глазах всего мира. Одни хотят видеть ее современной, развитой, демократической страной, другие – сильной, вооруженной, внушающей страх. Но всегда есть большой мир – и есть целая Россия. Причем с одной стороны, она хранительница необыкновенных ценностей и ресурсов – человеческих, духовных, нефтяных и так далее, с другой стороны – пассивная величина, которая все время позволяет куда-то себя вести. Вопрос всегда о том, кто будет вести. Кто будет указывать (Путин или Медведев?) – опять становится самым горячим вопросом.

Ситуация мне видится так: некоторый рывок, быстро что-то делается разными группами, фракциями в разных интересах, и мы опять оказываемся в новой ситуации «заморожков». Но как будто бы единственная возможность осознать эту ситуацию и единственно общее, что объединяет интеллектуалов, власть и остальное население, – это повестка дня, где первым пунктом опять стоит вопрос: «Куда идти России?» А за ним всегда скрывается вопрос: «Кто поведет Рос-

сию?»»

Развитие страны сегодня связывают с модернизацией. Инициатором модернизационного развития выступает власть. Очевидно, что условием достижения положительных результатов должна быть эффективная власть. Эффективность власти в этом случае проявляется в высокой компетентности в выборе стратегий модернизации. Как вы оцениваете предлагаемые сегодня стратегии?

Строго говоря, стратегий нет. Есть набор из обломков каких-то предложений прошлых лет, из фраз, лозунгов и риторики, которая уже давно износилась, к которой очень быстро присоединяются словесные кусочки, считающиеся чем-то чрезвычайно выигрышным, современным, тем, что будет российским козырем. Состав этой риторики все время меняется и зависит от того, кто подает эти слова главным людям, от соотношения сил за кулисами. А мы не видим, что там происходит.

Исследования элиты, которые наш центр проводил в 2005-м, 2006-м, 2007-м и последующих годах, показывают, что, во-первых, у тех людей, которые близки к власти и могут влиять на локальную или общефедеральную ситуацию, в принципе никакой программы модернизации нет: как барин решит, так и будет. Модернизация – это хорошо, но, хотелось бы, не нашими руками и лучше не при нас. Во-вторых, у этого главного человека, по мнению элиты, нет хорошей

команды. Но те люди, которые могли бы предложить себя в эту команду, чаще всего оказываются предельно отстранены от рычагов реального воздействия и составляют группу маргиналов, «лузеров», людей, которые были во власти, но которых быстро оттуда выкинули.

Всякие возможности изменений в России всегда связываются с модернизацией. А модернизация в России всегда связывается с властью. Власть никогда не имеет ее программы, делает то, что считает нужным на данный момент, из чего иногда получается нечто, будто бы напоминающее модернизацию. Модернизировал ли Сталин страну? Конечно модернизировал. Но было ли это модернизацией в том смысле, в котором говорят о произошедшей и уже завершившейся (постмодерн!) модернизации в обществах модерна, «развитых» обществах? Модернизировал ли Россию Петр I? Да, в определенной мере. Но было ли это решением тех проблем, которые встали в Новое время перед несколькими странами Запада, перед их элитами, образованными слоями, массами населения, средствами массовой информации, экономическими, юридическими институтами? Нет, в России это было совсем другое, потому что исходило оно всегда сверху, чаще всего от одного человека или от узкой группы лиц, опиралось исключительно на их волю, проводилось жестким, репрессивным образом, не считаясь с человеческой, социальной, экономической ценой всего этого. В этом смысле вся проблематика модерна, проблематика культуры, пробле-

матика современных институтов, проблематика универсальности, универсальных ценностей и норм (в первую очередь правовых) никогда не была в российской модернизации не то что главной, но и вообще хоть сколько-нибудь близкой к ее ядру. Главным всегда было другое: Россия должна показать всему миру, чего она стоит. А для этого не жалко ничего. Чаще всего средством был железный кулак. А уже по ходу создания этого железного кулака власть еще что-то была вынуждена сделать: поднять уровень образованности населения, потому что иначе люди не смогут работать на заводах, собирать танки, запускать самолеты и т. д.; поселить большую часть страны в города (они не очень похожи на города в строгом смысле слова, но какая-то урбанизации пошла); допустить некоторые средства массовой информации; допустить хоть какое-то проникновение со стороны Запада. Это не входило ни в какую программу, но власть, те или иные фракции или фигуры в ней вынуждены были это допускать.

У нынешней власти также нет единой концепции модернизации?

Я бы и власть не представлял как нечто единое. Нынешний тандем – это вынесенное вовне символическое признание того, что никакого единства там нет, а есть разные группировки со своими представлениями о том, что им нужно, со своими аппетитами, со своими связями и готовностью пойти на более или менее резкие движения для воплощения того, что они считают правильным. Но консенсуса между этими

группами нет, кроме того, что до крови доводить не надо. Или эта кровь должна быть где-то далеко: в Чечне, в Грузии, еще где-нибудь. Главное, чтобы между собой резни не было. Практически единственный опыт, который люди власти и приближенная к ним интеллигенция вынесли из сталинской эпохи, – что нельзя допускать ситуации, которая была при Сталине, когда все друг друга могут перерезать. А главный может просто зарезать всех. Этого допускать нельзя. А все остальное... Нужен будет лозунг модернизации – выдвинем лозунг модернизации.

Лозунги модернизации, которые сейчас выдвигаются, подразумевают системные преобразования или только внедрение технических инноваций?

Это упирается в технические, технологические преобразования. С одной стороны, это отражает кругозор людей, которые находятся во власти, причем наиболее продвинутых из них. Достаточно часто это люди, получившие техническое образование и имеющие опыт аппаратной интриги, для которых бюрократические ходы являются нормальным способом действия. Соединение технического разума с аппаратным интриганством, мне кажется, составляет особенность большинства группировок, которые сейчас приближены к власти. Причем даже наиболее разумные из них вынуждены принять этот язык, потому что это единственный язык, на котором можно говорить с разными группами, которые там, наверху, действуют (для масс «внизу» работает язык «вели-

кой России» или «нас опять обижают» – как у детей: «Пап, я уже большой» и «Мам, я первый дал ему сдачи»).

У Ю. А. Левады в период гласности вышла статья, которая называлась «Сталинские альтернативы». Там он сформулировал несколько вопросов, на которые, по его реконструкции, пытался ответить Сталин и люди, которых он к себе приближал, и которые он оставил неотвеченными в качестве некоторого наследия для следующего поколения политиков:

1. Как стране жить в мире с самой собой? Как отойти от модели гражданской войны, от резни?
2. Как вписаться в большой мир?
3. Как построить современные институты?
4. Как это все соединить с растущим год от года уровнем жизни населения, чтобы бóльшая часть людей чувствовала какую-то пользу от такого социально-политического существования?

Мне кажется, что ни на один из этих вопросов нынешняя власть не имеет хороших ответов, и большого продвижения к ответам за двадцать лет я не вижу. Единственное, что нынешние власти не довели дело до большой резни. Но ведь если посмотреть внимательно, «маленькая» резня, вынесенная на окраины, все время на протяжении этих двадцати лет происходила. Мы пережили две чеченские войны, мы пережили «малую кавказскую войну» с Грузией. У нас очень тяжелые отношения с соседями в сторону Запада: с Прибалтикой, с Украиной, с Белоруссией, с Молдавией. Пока зву-

чат исключительно угрозы без перехода к военным действиям, но ситуация Приднестровья, ситуация в Крыму, наличие очень большого количества русских в Прибалтике делает отношения достаточно напряженными. Сегодня они не меньше напряжены, чем в 1989 или 1991 году, и время от времени то здесь, то там вспыхивают. Поэтому весь этот набор вопросов остается актуальным и открытым.

Создается впечатление, что мы столкнулись с классической дилеммой: эффективная власть vs. гражданская активность? Как эффективность власти соотносится с демократией в нашей стране?

С эффективной властью не очень получается. Преобладающая часть населения не считает нынешнюю власть – ни федеральную, ни местную – эффективной. И не только ее конструкцию, но даже и первых лиц, к которым большинство вроде бы относятся чрезвычайно позитивно, создают им очень высокий рейтинг. Но когда мы разбираемся, что ставят в плюс Путину, что ставят в плюс Медведеву, эффективности мы не получаем. За все годы путинского президентства российское население делилось в его оценках на три примерно равные части: одни говорили, что Путин еще пока ничего не сделал, но должен сделать, и они очень этого от него ждут; вторые говорили, что, может, он ничего и не сделал, но выбирать все равно не из кого, нет у нас другого; третьи не очень на него надеялись, но говорили, что поддерживают его до той поры, пока он говорит, что Россия куда-то движется.

В принципе, за исключением того, что при Путине закончилась чеченская война и удалось добиться если не победы, то хотя бы притушить этот пожар и замолчать цену потерь, а также укрепить позиции России на международной арене, то есть заставить считаться с собой, примерно так, как в позднесоветские времена, ничего из избирательной программы Путина как кандидата в президенты, с точки зрения населения, фактически не было выполнено. Ни подъема жизненного уровня, ни борьбы с коррупцией – ничего исполнено не было. Но эффективности нет, а высокие рейтинги есть. Население от власти не требует эффективности. Похоже, оно ждет, чтобы власть не слишком давила, позволяла делать то, что люди считают нужным, и чтобы она представляла Россию как целое, Россию для всего мира. Путин (сейчас это в какой-то мере переносится на Медведева) должен олицетворять Россию, служить арбитром в конфликтах на верхах и не должен выглядеть слишком агрессивным, «зубастым» и «усатым», как Сталин. Этого вполне достаточно, чтобы давать ему высокие рейтинги. Нужна ли демократия? В общем, да, большая часть населения не против. Но оно не знает, что такое демократия. Большая часть россиян считают, что демократия – это все хорошее, что есть, но прежде всего это забота власти о населении. Это советское представление о демократии, очень популистское, уравнилельное, представление «снизу вверх»: власть все равно наверху, это не чиновники, которых мы за деньги наняли и можем уволить, а

те, кто нам что-то подарит, даст, окажет, как в «Золушке» Шварца, знак внимания. Сказал Путин, чтобы женщины рожали побольше и что для этого их надо экономически стимулировать, – это был знак барского внимания в эту сторону; сказал что-то о развитии технологий, поехал в город N и что-то исправил – этого вполне достаточно. Всерьез о демократии, о ее цене, о ее институтах, о ее нормах и правовом обеспечении, о собственной ответственности за демократию население России не думает. Не думают и об эффективности власти в смысле того, что власть – это, по сути, менеджеры, и если они работают неэффективно, их надо менять. Большая часть населения России ни о том ни о другом не думает. Ее занятие не задавать ориентиры, не требовать чего-то от власти, а привыкать и адаптироваться к ситуации, которая возникает. Иногда ситуация бывает чуть лучше, как было в 2007 году, когда накануне выборов разным группам населения были выделены большие деньги. Иногда она бывает хуже, как случилось после начала экономического кризиса. Иногда России удается показать, что у нее есть этот железный кулак, когда она в три дня «побеждает» Грузию. А иногда победить не удастся, как не удастся победить Украину или даже Белоруссию. И население живет в этой ситуации, желая, с одной стороны, жить в сильной, могучей стране, которую боятся, а с другой стороны, жить с приличным уровнем жизни и, может быть, отказаться от имиджа большой, сильной страны. Но отказаться страшно: с чем тогда

останемся? Непохоже, что власть может обеспечить населению достойный уровень жизни. А само население процентов на 70 считает, что оно своими собственными усилиями создать себе достойную жизнь не может. Это даже не назовешь тормозом. Это такое состояние социального вещества. И трудно сказать, как его можно изменить. Вряд ли усилиями одного человека или даже группы лиц в какие-то короткие сроки можно это поменять.

Эта черта, на ваш взгляд, в русском национальном характере?

Вряд ли с этим уже рождаются. Это итог того опыта, который получили несколько поколений советских людей, а потом и постсоветских. Кто видел, что бывает лучше, становится немножко другим, но не настолько другим, чтобы выступить лидером, всерьез взяться за изменение ситуации. Люди, которые за 1990-е и за 2000-е годы добились успеха для себя и своих близких, считают, что это достижение путинской эпохи, они связаны с президентом, обязаны ему этим. Они не уверены, что добились этого прочно и не потеряют это в один день. Они не знают, удастся ли это передать следующему поколению и станет ли это опорой, ниже которой уже нельзя упасть. Другого опыта, в общем, у них нет. Хотя за последние двадцать лет они что-то слышали, что-то увидели. Изменилось не так мало. Но сохранились конструкции базовых, модельных институтов – силовых институтов и власти – не демократия, не рынок, не суд, не парламент,

а именно власть, репрессивные, иерархические институты. Почему? Есть три зоны одобрения со стороны масс: первое лицо (сейчас – тандем), армия и церковь. Это конструкции, не имеющие отношения к повседневному опыту этих людей, это инстанции, на которые они влиять не могут, это что-то далекое, но воплощающее представление о том, как должно быть. Все должно быть, как в армии, как в церкви, под началом одного человека.

Российский народ все-таки царистский?

Ну, в большинстве, если говорить метафорически, да. Первое лицо может называться не царем, а президентом. Но та конструкция социального мира, то представление о власти, тот минимум политического, что есть умах большинства, – он архаичен, и это не столько национальный характер, сколько политическая культура. А она сложилась под воздействием исторических, «тектонических» процессов: войн, террора, переселения, несвободы, прописки, железного занавеса, незнания языков (и нежелания их знать, включая языки ближайших соседей) и так далее.

В СМИ часто употребляют слово «модернизация», что говорит о стремлении сформировать положительное отношение граждан к политическому тренду. Предполагается, что общество должно поддержать курс на модернизацию. Но что знает общество о смыслах модернизации? Известны ли риски и издержки, которые с ней сопряжены?

В общем, нет. За исключением более образованных, продвинутых групп, кружков идеологов, политтехнологов, людей, обслуживающих власть или пытающихся оппонировать власти. За исключением этих узких, закрытых зон, большая часть населения мало понимает в том, что такое модернизация, что такое модерн вообще, что такое быть современным, чем это может быть обеспечено, чего это требует от человека, что человек при этом теряет, какова цена современных развитых обществ, которые не только обеспечивают высокий уровень жизни своего населения, но служат некоторыми лидерами, «застрельщиками» в мировой политической жизни и берут на себя ответственность за мировую политическую атмосферу, вынуждены вступать в войны, посылать свои армии, становиться мишенью для международных террористов. Сознательно к судьбе страны, сделавшей выбор в пользу модернизации, Россия сегодня явно не готова. Хотя на словах, тем более когда их произносит президент или бывший президент, вроде бы никто не против. За все хорошее выпить всегда рады. Но как делать это хорошее и чего это требует от меня, как мне изменить свои отношения с другими, чтобы мы вместе могли это делать, – вот проблема. Люди хочешь не хочешь живут кучей, но что-то делать вместе, по-моему, и раньше не очень умели, а за последние двадцать лет точно разучились. Поэтому уровень недоверия к другим людям чудовищный, уровень недоверия к основным институтам, кроме первого лица, армии и церкви, чудовищный:

к милиции, которая, казалось бы, должна обеспечивать порядок, к журналистам, к суду, к профсоюзам, которые вообще не существуют, к партиям. И как быть современным обществом, если все современные институты и черты современного политического и экономического порядка большинством населения не понимаются, не принимаются, воспринимаются с недоверием и чаще всего с враждебностью?

Как вы оцениваете усилия СМИ в разъяснении смыслов модернизации?

В наших средствах массовой коммуникации нет собственно коммуникации – связей между разными группами, а есть связанный с властью публичный церемониал. Население приучают к тому, что словам и поступкам первых лиц и близким к ним людям придается особое символическое значение. И население говорит: «Да, вроде бы действительно модернизация, но что это?» А большинство не знает, что это такое. Но кажется, что это что-то хорошее, потому что и один и другой вождь с утра до вечера соревнуются в частоте произнесения этого слова. Речь идет, конечно, не обо всех, а о 85–90 % средствах массовой информации. Есть все-таки и какие-то реальные источники информации, которые дают разные мнения, взвешивают разные позиции, говорят о перспективах, о цене, о возможностях выбора пути, но это в лучшем случае 10–15 % эфира, не более того. И скорее эфира радионного и печатного, чем телевизионного. И скорее не федеральной, а местной печати, на которую большая часть

российского населения перешла. Но связывает всю страну в нечто, очень условно, единое именно телевидение. Все свободное время, то есть три-четыре часа, которые остаются после работы, магазинов и прочего, отдается телевидению. И большая часть населения ориентируется лишь на два-три основных канала.

Какие задачи стоят перед СМИ, когда речь идет о выработке курса развития страны и его реализации?

Обеспечивать разнообразие (групповое разнообразие, разнообразие точек зрения и подходов), обеспечивать площадку для коммуникации между носителями этого разнообразия, и если уж приучать к чему-то людей, то не к телодвижениям власти, а к идеям сложности, трудности, связанных с модернизацией, и к идее ответственности за этот выбор. Если нет доверия, значит, нет и ответственности. Если нет доверия и ответственности, нет эффективной власти. И тогда она может только демонстрировать свои телодвижения и приучать к ним народ. Или добиваться этого оружием, агрессией, ГУЛАГом, железным занавесом. Но вроде бы нынешняя власть этого не хочет. Поэтому она проводит некий церемониал. Подыгрывать ему – дело денежное, дает доходы, статусы, но не подвигает к тому, чтобы Россия когда-нибудь стала современной, развитой и привлекательной для кого-то страной. Мы видим потоки людей, которые устремляются в Америку, в Германию, во Францию. Но мы не видим потоков людей, кроме русских беженцев из бывших республик

или сравнительно небольшого потока гастарбайтеров, которые устремлялись бы в Россию. Они же устремляются не затем, чтобы получить здесь высокое образование и добиться Нобелевской премии, а затем, чтобы найти хоть какую-то работу и хоть какие-то деньги. Это совершенно другая эмиграция, по сравнению с теми китайцами, вьетнамцами и другими народами, которые стремятся в Америку или, скажем, в Германию.

Какую модернизацию примет общество?

Та, которая принесет хоть какое-то улучшение, не требуя от нас слишком многого. Это примерная модель хорошей власти, которая дает нам что-то время от времени, не требуя от нас многого взамен. Это та модель модернизации, которая не будет противна большей части населения. При этом не ставится вопрос: «А я что буду делать, чтобы это реализовать?» Нет идей-ориентиров, идей-маяков, идей-стимулов, да они большинству, кажется, и не нужны. За современными западными обществами стоят идеалистические проекты: будь это американская мечта, или протестантская этика, или дух солидарности, который описал Эмиль Дюркгейм на примере Франции времен становления гражданского общества. Это всегда очень идеалистический проект, вынесенный в будущее. В России сегодня 70 % населения говорит, что оно не может ничего планировать за пределами нескольких месяцев. Поэтому будущее – то, какое укажет верховный вождь. «Правь нами, батюшка, только не заведи нас в болото

и не наказывай особенно сильно». Более молодые группы с большими ресурсами и притязаниями могут быть не очень удовлетворены нынешней ситуацией, но их неудовлетворенность пока не приобретает никаких оппозиционных форм гражданского противостояния.

Готово ли общество нести ответственность за согласие на курс модернизации?

Ответственность нести не согласно и не готово. Думаю, или не подозревает о ней, или не хочет о ней думать, отталкивает саму мысль, что надо за что-то отвечать.

Трудно не согласиться с теми интеллектуалами, которые считают, что успех модернизации зависит от ценностей, заложенных в основу этого процесса. На ваш взгляд, какие ценности предлагает власть или элита, декларируя курс на модернизацию?

Пока это рассматривается как патриотический проект, проект с условным названием «Наше» или «Мы». Мы должны что-то сделать, им показать, с другой стороны, с ними не смешаться, сохранить свою идентичность. Вопрос: в чем она состоит? В чем особый путь или особый характер российского человека? Оказывается, что он, с одной стороны, не похож на других, а с другой – у нас особые отношения между народом и властью. Народ ждет от власти, что она будет о нем заботиться, а власть воспринимает народ как еще не взрослых людей, которых не всюду можно допускать. В этом смысле любые сегодняшние ценностные заявления и

флажки несут окраску российского трехцветного флага. Это должно быть «Наше». Борхес к очередному юбилею аргентинской революции, которая привела к независимости Аргентины и других стран континента от Испанской империи, сказал по поводу аргентинцев: «150 лет назад мы решились стать другими». Пока о России этого сказать нельзя, Россия не решила стать другой. С другой стороны, кто-то из поляков сказал пафосные слова, что история трех последних веков Польши – это история борьбы за свободу. Я думаю, о России и этого нельзя сказать. Три последних века российской истории не были борьбой за свободу. За что же шла вся эта борьба? С одной стороны, за нас, как за образ чего-то большого и грозного, с другой стороны, снизу пытались как-то так сделать, чтобы людям дали дышать, приспособиться к ситуации и не гнали в лагерь. Таким образом, выживающее большинство, с одной стороны, и патриотические идеи особого пути, с другой, – собственно, это и есть изнанка и лицо нашей «общественной», хоть в чем-то общей жизни. Так или иначе, именно этот патриотический отпечаток будет сегодня на любых лозунгах, идеях, ценностях, которые вынесет власть или люди, близкие к власти, в качестве модернизационных призывов.

Это не будет кодексом правозащитников, это не будет кодексом отцов-основателей американской демократии, это не будет идея американского призвания: «Мы пришли, чтобы эту пустыню сделать цветущей страной». Сегодня основ-

ные ориентиры и у власти, и у населения не в будущем, а в прошлом, хотя это, в общем-то, сконструированное прошлое, хорошо нарисованное прошлое. Если посмотреть данные нашего центра о том, какие характеристики в понимании конструкции идентичности (что такое Россия, российский народ, особый российский путь?) выросли в общественном мнении за последние двадцать лет, то это «наша земля» и «наше прошлое». Никакие другие. Самосознание таково, что российский народ – самый потерпевший от событий XX века. Если сказать, что поляки или евреи потерпели не меньше (и разве тут бывает больше или меньше?), найдется что вспомнить и у грузин, и у абхазов, и у прибалтов, то российского человека это, похоже, не проймет, потому что он считает: он – самый пострадавший. Эта способность терпеть и все-таки дожить до периода «оттепели» как будто является национальной чертой. Но принадлежит ли она людям реально? Скорее нет. И все же флажок, который выкинут, говорит о «русском терпении». Терпение, конечно, вещь хорошая, но оно никак не связано с модернизацией, с тем, что ты что-то делаешь, ставишь цели, и эти цели объединяют тебя с другими людьми, а связано со страданиями, свалившимися сверху. Наше «вместе» – это те, кто вместе претерпели, а не вместе что-то сделали. Таково российское «мы».

Качественная политика невозможна без взаимодействия власти и общества. Но в российском политическом пространстве невозможно найти наиболее удален-

ных друг от друга субъектов. Какие ценности, на ваш взгляд, способны сблизить общество и власть?

Власть за последние пятнадцать лет многое сделала, чтобы, с одной стороны, удалить хоть какое-то политическое многообразие, а с другой стороны, провести резкую черту между собой и населением. В этом смысле ни сегодняшняя власть, ни население не видят перспективы сближения. Таковую перспективу, как план или проект, могут ставить перед собой оппозиционные силы, если они сформируются. И тогда единственная для них возможность получить кредит доверия – не ходить в Кремль и добиваться, чтобы что-то выделили из средств на выборы, а принять во внимание интересы каких-то частей общества и пытаться эти интересы артикулировать, сделать основой своей программы и заручиться поддержкой населения для реализации этих целей. Без соединения идей и интересов, как учили классики социологии, институты не рождаются, а без институтов модернизации не будет. Без ценностного посыла, без идеалистического проекта это невозможно. Поэтому нынешнюю ситуацию я оцениваю скептически, хотя и не совсем безнадежно. Сверху что-то может сдвинуться, внизу что-то делается, какие-то группы чего-то добиваются.

Какие ресурсы для прорыва вы видите?

Ну, вряд ли прорыв – скорее сдвиг, сдвиги. С одной стороны, молодежь. Она все-таки другая по сравнению с молодежью моего поколения, тем более – поколения моих роди-

телей. В чем-то она больше привыкла к готовому, что-то досталось ей даром, но она другая, реально. С другой стороны, страна, хочешь не хочешь, вынуждена считаться с тем, что происходит не только в Америке, но и в Литве, в Грузии, других маленьких странах. Нынешняя власть считается не только с Китаем и Соединенными Штатами, но и с Польшей. Это тоже влияет на ситуацию. Но никакого проекта модернизации здесь нет, эти процессы носят общецивилизационный характер. Что-то просачивается, какое-то вещество другой жизни, других ценностей, других типов поведения, даже другого внешнего облика. Но это просачивается так, как дождь просачивается в землю. Пока это не очень направленные, осознанные, принятые процессы. Если дело пойдет так, то это будет очень долго. Ни одно поколение не может про себя сказать, что оно реализовало что-то из тех целей, которые перед собой ставило. Мераб Мамардашвили говорил, что советских людей отличает то, что никто из них никогда не сталкивался с последствиями своих поступков. Поэтому что-то может произойти, но это произойдет через два поколения, и ты даже и не знаешь, что это ответ на какой-то прошлый импульс. Очень важно, чтобы что-то произошло уже при этом поколении, чтобы оно увидело плоды своих трудов, реализацию своих идей. Это в корне меняет отношение человека к делу. Пока у большинства в России нет позитивного опыта достижения успеха в преследовании своих целей. А именно на этом строится модернизация, это ее путь, а не

лозунги власти.

Согласны ли вы с утверждением А. С. Панарина, что в России народ остался без элиты? Возможно, по этой причине трудно увидеть базовые для модернизации группы?

Что значит «остался»? Как будто она когда-то была, эта элита. Социально-политический и экономический порядок выстраивается в России сверху именно так, что он прерывает процессы элитообразования. Начальники, номенклатура появляются, а элиты все-таки нет. Потому что элита – образование сложное. Это и заявка на какую-то роль, и вместе с тем большой кредит доверия со стороны других групп. Это компетентность, но и ответственность. Это заинтересованность в других и готовность с ними сотрудничать при очень развитой индивидуалистической этике, чувстве чести, достоинства. Элита сама по себе и по велениям сверху не возникает. Элиты современных западных обществ получались в очень длительных исторических процессах, и нельзя сказать, что там была программа их «выращивания». Рано или поздно кровь переставала литься, люди начинали договариваться, строить формы совместной жизни. Условное начало – с идей, идеалистических проектов и ощущения личной заинтересованности в этом, связи твоей личной судьбы с судьбой других людей. В западных обществах (в меньшей мере в Японии) каким-то образом исторически соединились идея самостоятельности, индивидуализма, а соответственно,

чести, достоинства, которые за ней стоят, с идеей соревнования, кто лучше, а значит, идеалистических проектов ценностей, ориентиров, и с формами солидарности. Для российского ума самостоятельность исключает солидарность, соревновательность также исключает солидарность. Соединение этих несовместимых для российского ума элементов – та почва, на которой возникают и держатся современные формы даже в нынешние постмодерные времена.

Сегодня говорят или о деградации интеллигенции, или даже о ее полном исчезновении. На ваш взгляд, интеллигенция существует? Есть ли на нее общественный запрос? Если интеллигенция существует, то на что она способна в современной России?

Что касается исторических истоков интеллигенции, то это феномен закрытого общества и особых отношений, которые складываются между группами и слоями в закрытом обществе. Поскольку в таком обществе нет форм коммуникации, представления о собственных интересах в универсалистской форме вроде суда, парламента, политической борьбы, открытой прессы, там появляется этот феномен – особый слой людей, которые отличаются не столько своим положением в системе статусов, сколько функцией: они претендуют на то, что именно они связывают в этом обществе разные группы – крестьянство и город, власть и народ, Россию и Запад и т. д.

В 1930-е годы сталинская власть стала заинтересована в том, чтобы у нее был свой слой, с одной стороны, образован-

ный, с другой стороны, верный ей и привязанный к ней. Интеллигентам тогда присуждались премии, для них строились дачи, их отправляли в дома отдыха. Интеллигенция 1960-х, «оттепельная» интеллигенция, которая родилась после того, как умер Сталин и стали возможны некоторые степени свободы, – совершенно другая и по тому, из кого она формировалась, и по идеям. Интеллигенция 1970–1980-х, интеллигенция подполья, второй культуры, интеллигенция вынужденных соглашений с властью за то, чтобы хотя бы на кухне можно было говорить о своем и читать на папиросной бумаге перепечатанный «Архипелаг ГУЛАГ». Это разные формы, и я думаю, что ни те, ни другие, ни третьи в сегодняшней ситуации не присутствуют. Есть воспоминание о том, чем была интеллигенция, есть какие-то формы, которые она породила, но которые выступают в совершенно другой роли. Простейший пример: толстые журналы, которые всегда создавались интеллигенцией и для интеллигенции, были знаменем, визитной карточкой интеллигенции. Они сегодня существуют, но стали площадкой «для своих» и не выходят за пределы того, что на Западе называется «little review», что имеет небольшой тираж. Здесь можно дебютировать, получить первичное признание, «засветиться», но это не то, что делали толстые журналы в России XIX века или в 1960-е годы века двадцатого. Ю. А. Левада вообще считал, что интеллигенция была в России только в XIX веке, потому что в Советской России началось фантомное существование интел-

лигенции, когда само слово «интеллигенция» и какие-то обломки представлений о ней натягивались на другие исторические, социальные, экономические реалии. Сегодня если и происходит некое воскрешение понятия «интеллигенция», его ореола, то это тоже натягивание осколков воспоминаний о том, какой была интеллигенция, на другую реальность. Что делать интеллигенции в сегодняшней России? Остаточный контур, на котором она могла бы держаться, – это идея гуманности, внесения толерантности, терпимости, широкого взгляда, ненасильственности, какие-то остатки кодекса правозащитников или экологов. Но на какой социальный слой это сегодня ляжет, если среди молодого поколения доминируют идеи успеха, денег, статуса, свободы передвижения в мире? Идея широты взгляда, толерантности, интереса к будущему и к другому человеку – это радикалы, остатки от интеллигентского кодекса. Я не думаю, что их можно сейчас реально положить на какой-то слой, на какие-то коммуникации или формы. Хотелось бы, чтобы это, по крайней мере, было растворено в атмосфере, как аромат, как холод или тепло. А чтобы это стало знаменем, флажком для какой-то группы, чтобы возникла партия или клуб интеллигентов – маловероятно.

Современная интеллигенция способна вести за собой?

Мобилизационный, объединяющий, поднимающий характер интеллигенция потеряла. Есть остатки желательного морального кодекса. Но ббольшая часть населения пожмет

плечами, если что-то сказать про интеллигенцию: они занимаются другими делами, выживанием. Можно попробовать найти что-то из кодекса интеллигенции среди образованной молодежи, у которых родители с двумя высшими образованиями. У нас и у наших коллег есть данные, что среди столичной молодежи негуманитарного образования находятся реликты интеллигентских представлений – скажем, о чтении, о книгах, о писателях. Причем они демонстрируют это в интернете – заносят это в свою визитную карточку «ВКонтакте», обсуждают там эти вещи. Какие-то символы общности, оказывается, дошли до них от поколения интеллигентных родителей. Даже не сама интеллигенция как слой или программа, а элементы ее поведения, ее мысли, символы могут встретиться в обиходе небольших групп. Эти символы не могут быть для них главными, увлекающими, направляющими, а могут быть знаками, по которым узнают «своих/чужих». При таком уровне недоверия общества, как сейчас в России, важны символы, сигнализирующие о том, что ваш собеседник не будет слишком агрессивен по отношению к вам, что он отнесется к вам с уважением, что с ним возможен диалог. Так что сегодня роль интеллигенции, воспоминания об этой роли имеют совсем другую функцию. Черты, на которых когда-то хотел себя сформировать и репрезентировать целый социальный слой, сегодня становятся распыленными, растворенными, эфирными символами возможной взаимности в обществе раздробленном, бедном доверием и бедном

реальными коммуникациями. Реликты этого кодекса выступают в роли ритуала знакомства. Это тоже важная роль, но другая. Хотя ее уже знаменем не сделаешь, но способность наладить контакт важна, особенно в российском обществе, где с недоверием относятся к другим, не очень заинтересованы в других. Эти значки играют теперь не мобилизационную, а цивилизационно склеивающую роль.

О «Манифесте» Н. С. Михалкова. Нашел ли он отклик в обществе?

В широкие слои он все равно не пойдет: слишком большой, слишком много всего сказано. Обычный человек заснет на пятой минуте. Но если Н. С. Михалкову дать на пять минут озвучить что-то из основных идей, которые он там изложил, тогда значительная часть населения услышит нечто патриотическое, отсылающее к дореволюционной России, почувствует имперский пафос. Но тут и граница. Идея империи как синонима завоевания, агрессии и подчинения, думаю, вряд ли будет иметь поддержку. А империя как сознание общности, того, что наши рубежи укреплены, как мы никому не отдадим ни пяди своей земли, – это да. Но империи, которая пятой наступает на своих жителей, россияне сегодня не хотят. Они ни за что не хотят отдавать жизнь, не хотят ни за что воевать. Но в то же время они чрезвычайно чувствительны к тому, что отличает их от других народов, и хотят, чтобы другие это уважали. Когда задевается периметр «это – мы» на спортивных или политических полях или, ска-

жем, в культуре, к этому относятся очень болезненно. А в целом, мне кажется, довольно демонстративное, пафосное и широковещательное сочинение. Но ничего другого от Никиты Сергеевича никто и не ждал. Значительно более мягкий, более интеллигентный вариант – то, что пишет его старший брат. Он тоже выступает со своего рода манифестами и даже опередил в этом младшего, но там имперская идея до предела сглажена, там тоже про особый путь, но без железного кулака, там чувствуется готовность услышать другого и установить диалог. Все-таки есть какая-то прививка западной цивилизации.

Есть ли модернизационный ресурс у идеологии «особого пути»?

Впервые: *Гудков Л. Д., Дубин Б. В., Паин Э. А.* Беседа на тему: Есть ли модернизационный ресурс у идеологии «особого пути»? // Идеология «особого пути» в России и Германии: истоки, содержание, последствия. М.: Три квадрата, 2010. С. 300–317.

Э. Паин: Заканчивая подготовку нашей книги к публикации, я вспомнил об одном коротком выступлении на Шестых Старовойтовских чтениях, которое отличалось «особым взглядом» на проблему «особого пути» России. Бóльшая часть выступлений на чтениях, равно как и бóльшая часть статей этой книги, показывают, что где бы ни появлялась идеология «особого пути», она всегда отражала защитную и антимодернизационную направленность. Но вот писатель Александр Мелихов полагает, что эта же идеология при определенном ее развороте может служить и целям модернизации. В этой связи он высказывает несколько идей. Во-первых, о том, что понятие «особый» в индивидуальных оценках всегда имеет скорее позитивную, чем негативную коннотацию, характеризуя незаурядные способности, возможности личности («особая личность», «особые заслуги», «особое качество»). Встает вопрос, каким образом идеология «особого пути» сочетается с этой идеей индивидуальной

незаурядности.

Во-вторых, писатель говорит, что идеология «особого пути» возникает как сопротивление навязанному кем-то извне однообразию, жизни по чужим правилам. Наверное, можно поспорить с гипотезой о таком происхождении этой идеологии, однако меня больше занимает вытекающая из этой мысли Мелихова проблема взаимосвязи идеологии «особого пути» с современными версиями теории модернизации. Они отказываются от былого эволюционистского взгляда на историческое развитие, предполагавшего один для всех единственно верный и при этом еще и прямолинейный путь к всеобщему счастью. Напротив, в новых версиях теории модернизации культурное многообразие человечества рассматривается как конкурентное преимущество того или иного народа или страны. Так вот и возникает еще один вопрос для нашего обсуждения: о том, как соотносится идеология «особого пути» с идеей культурного многообразия.

И наконец, третий вопрос, пусть и не поставленный прямо в выступлении писателя, но вытекающий из него. У какой-то части нашей интеллигенции есть нонконформистское стремление найти, разглядеть нечто позитивное в том, что обычно маркируется как негативное. Понятно, что ныне идеологию «особого пути» защищают державники, имперцы всех мастей, так было и раньше на протяжении по крайней мере двух последних веков российской истории. Но, может быть, можно найти такой поворот особого пути, который будет по-

зитивным отнюдь не для консерваторов, а для людей с демократическими взглядами?

Л. Гудков: Давайте начнем с категорий «особенный», «особый». В принципе, это оценочные суждения, которые сами по себе не содержат ни позитивной, ни негативной коннотации. Термин «особый» не является характеристикой универсального свойства, не содержит признаков многовариантности и, соответственно, не позволяет установить специфичность какого-то одного варианта в сравнении со многими другими или с некой универсальной моделью, схемой. Для оценивания необходимо принимать во внимание мотивацию того, кто выносит оценку, к кому он обращается, к каким партнерам и по отношению к чему он устанавливает такую демаркацию или оценку. Когда мама говорит: «Ты особенный!» – она выделяет ребенка и оценивает его вполне позитивно («особый для меня среди многих»), не давая при этом негативных оценок другим детям; она не исключает своего ребенка из универсального ряда. Когда А. Дугин или еще кто-то из консервативных идеологов говорит «особый», он, конечно, работает с компенсаторно-защитным комплексом. Оценка здесь направлена против включения страны или субъекта в универсальное поле. В этом смысле изоляция исключает субъекта из шкалы, в которой он мог быть оценен как недоразвитый или недомодернизированный или еще недо-какой-то. То есть снимает негативную оценочность. Поэтому сама по себе особость как признак еще не содержит

в себе мотивацию. Я поэтому и говорю, что надо всегда брать во внимание мотивы квалифицирующего субъекта.

Э. П.: Хочу подхватить мысль о двух типах оценок: одна – в рамках универсальных критериев, а вторая – через исключения из них и противопоставления. Когда мать оценивает своего ребенка как особенного, незаурядного, она, как правило, делает это по универсальным критериям. Если в обществе ценится ум, то мать и оценивает по этому критерию своего ребенка («мой самый умный, способный»), если ценится сила, воинственность, ловкость, то по этим же критериям и мать выделяет своего ребенка из ряда других детей, оцениваемых по тем же критериям. В этом смысле такая оценка принципиально противоположна идеологии «особого пути», которая пытается противопоставить эту особенность неким универсальным требованиям. «Мы принципиально не такие». Кстати, и в индивидуальных оценках заметно различие двух типов оценивания. Если бы мать сказала: «Мой сын дурачок, зато тихий (или сильный)», – то в такой оценке явно проявлялась бы защитная реакция психологической компенсации. И еще одно. Даже мать оценивает своего ребенка как внешний наблюдатель, а представьте себе, что сам сынок или дочка начнет превозносить себя как незаурядную личность. Вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что такой человек ощущает некую внутреннюю неуверенность и стремится компенсировать ее самоутверждающим возвеличиванием. Вот и идеология «особого пути» – это всегда самооценка «нас»,

это форма болезненного самоутверждения.

Б. Дубин: Мне не кажется, что сегодня большинство российского населения – ну, может быть, за исключением студентов твоего, Эмиль, университета, Высшей школы экономики, которых обучают тому, что они самые-самые, и всячески стараются разбудить в них честолюбие – сверхпозитивно оценивает значение слова «особый». Скорее наоборот. Юрий Левада писал о том, что никакого среднего класса нет, а средний человек есть. В этом смысле – и наши данные это подтверждают – большая часть населения вполне готова быть такими, как все, и позитивное скорее видит именно в этом.

Э. П.: Да, это подтверждается и другими исследованиями, например Н. Лапина. По его данным, для двух третей современного российского населения характерен конформизм. Нормативным, «правильным» считается поведение, не выделяющееся из среды, – «быть как все», «не выпячиваться».

Б. Д.: Поэтому возможность позитивного перенаполнения категории «особый», ее исторического переформатирования здесь и сейчас, в наших условиях, мне не кажется реальной.

Л. Г.: Говоря о переформатировании, Борис вводит другое измерение – конкуренции, состязательности, сравнения. Там, где «особый» наполняется смыслами «лучшего качества».

Б. Д.: Это совсем другой угол рассмотрения. Если мы говорим, что все особое, почему бы и России не быть особой, как особая Албания, Германия, США и т. д.? Это меняет весь контекст рассуждений. Потому что значение категории «особый» в публицистике наших фундаменталистов, консерваторов – это, конечно, «один, единственный, неповторимый и лучший». А если мы говорим, что «особый» – это механизм соединения нового и старого, чужого и своего для всех обществ, проходящих процесс модернизации, и в этом плане он особый, но каждый раз конкретный и неповторяющийся, то мы предельно деидеологизируем это понятие, что, естественно, вызывает сопротивление со стороны консерваторов, фундаменталистов и так далее, которые хотят считать слово «особый» не подлежащим универсализации. Ну и маленький комментарий к особости как антимодернизационной идеологии. Я немного мягче стал смотреть на эту проблему. Мне кажется, что это не контрмеханизм, а адаптационный механизм. Механизм смягчения и приведения к уровню возможного для населения, с одной стороны, власти, с другой стороны, и каких-то околотовластных групп, с третьей стороны. Иначе говоря, как писал Левада, «все подневольно втягиваются в изменения». От бабушки до ее правнучка. Правнучек просит шоколадку, и хочешь не хочешь оба включены в процессы изменений. Но каждая группа для себя вырабатывает механизм смягчения требований этого самого процесса модернизации, перестройки и т. д. Для власти

нужны такие механизмы. Ей удобна в этом смысле идеология «особого пути», потому что она позволяет то, что позволяет: уворачиваться от Запада по логике «не учите нас жить», и бесконтрольно развязывает руки внутри страны, поскольку, дескать, «ситуация экстраординарная». Для массы тоже это удобно потому, что дает возможность не слишком сильно втягиваться в происходящее и не увеличивать требования к себе. Кто-то недавно сказал, что у нас есть единственная национальная идея – Великая Отечественная война. Но я думаю, что есть другая национальная идея. Она состоит в том, что мы особые. Без объяснения, в чем эта особенность заключается. Потому что само ценностное наполнение этого понятия состоит в том, что оно не должно быть конкретизировано. Это момент такого преимущества и превосходства, что он не терпит дальнейших интерпретаций. Мы перестаем быть особыми, когда начинаем рассказывать о том, что же, собственно, нас отличает от других.

Э. П.: Мы ведь оцениваем не просто словосочетание «особый путь», а конкретную идеологию, имеющую традицию как в Германии, так и в России, и у этой традиции вполне четкие критерии. Критерии противостояния нескольким элементам. Прогрессу как идее совершенствования, которая вроде бы противостоит некой самобытной духовности. Это идея противопоставления власти народа другому типу политического режима – власти персоны. Авторитаризм выступает в качестве неизменного элемента и германской, и российской

ской традиции «особого пути». В российском же варианте к нему добавляется совершенно очевидная традиция имперскости, на которой сходятся, как это ни парадоксально, и этнонационалисты, и чистые державники. И лишь одна группа – скинхеды (неонацисты, исходящие из идеи *white power*) – ее не принимает.

Л. Г.: Термин «особый» лишен самостоятельного смысла и наполняется в зависимости от задачи. Мы почти одни и те же цифры получаем при разной формулировке вопроса об особенностях России. «У нас особенное прошлое?» – «Да!» «Русский такой же народ, как все?» – «Да!» И так далее. Шестьдесят–шестьдесят пять процентов устойчиво. Это значит, что эти ценностные радикалы блуждают, не будучи помещенными в силовое поле какой-то идеологии, каких-то интересов власти. Идеология либо включает Россию в общее поле модерна, конкурентных отношений и тогда формирует соответствующие оценки населения, либо исключает Россию из этого конкурентного поля и тем самым работает на интересы самосохранения власти. За «особым путем» стоят не представления населения, а интересы той или иной системы власти, консервирующей всю систему отношений, прежде всего собственные социальные позиции.

Э. П.: Ну не только власти. Я бы сказал, элит.

Л. Г.: Об элите трудно говорить в России. Скорее, речь может идти о некой интеллектуальной службе вла-

сти. *Sonderweg*⁸ возник в ситуации фиксации отсталости Германии, немодернизированности, раздробленности, несостоятельности как государства. А у нас он появляется всякий раз, когда встает задача перехода от рывка («догоним – перегоним») – к ситуации консервации положения вещей и возведения защитного барьера по отношению к Западу. В России идеология «особого пути» возникла в 30-х годах XIX века, после Крымской и Русско-японской войн. Потом сталинская идея построения социализма в одной отдельно взятой стране. Следующая фаза – момент краха советской идеологии. И сегодня – опять-таки в ситуации неудачи реформы. Никакой в этом идеи особости снизу нет. Это продукт околовластных кругов.

Б. Д.: Давайте подытожим. Мне кажется важным то, что Эмиль сказал про империю. Так или иначе, за идеологией «особого пути» стоит имперский, великодержавный комплекс. Эта попытка надставить недостающий рост до представлений о себе как великой державе. Особый путь – это те котурны, на которые человек нормального роста встает, чтобы быть повыше. И оказывается, что это для всех очень важно. По «происхождению» это, конечно, элитная, или, лучше сказать, номенклатурная идеология (в России национализм номенклатурный и идеология «особого пути» номенклатур-

⁸ Особый путь (*нем.*) – термин, обозначающий представления о своеобразии исторического развития Германии и ее исторической миссии. Впервые употреблен немецкими консерваторами-империалистами конца XIX века и имевший влияние вплоть до окончания Второй мировой войны. *Здесь и далее примеч. ред.*

ная). Но, видимо, со временем, и сейчас как раз такое время, какие-то остатки этой идеи становятся механизмом согласования между верхами и низами. На каком-то этапе это становится способом закрепления статус-кво, который устраивает всех – и верхи, и низы.

За всеми этими вещами прочитывается соревнование с одной конкретной державой. До поры до времени это была Германия, потом Соединенные Штаты. И в ситуации, когда оседает пыль после битвы, когда начинают разбирать то, что на поле боя, видимо, одним из инструментов согласия является вот эта самая мифологема особого пути. В этом смысле о верности ей две трети населения говорят так же свободно, не задумываясь, как в другом отношении – желая такой же жизни, как у всех на свете (кто же откажется!), – говорят: «Да нет, мы, русские люди, такие же, как все. Мы хотели бы жить, как на Западе. Мы только не хотим работать и отвечать за свои поступки».

Л. Г.: Это и есть структура русской традиции. Я имею в виду организацию исторического, государственного сознания. Все ключевые точки такого сознания связаны с критическими моментами соприкосновения России как неформального множества с каким-то универсальным целым. Если по нашим данным смотреть, то первые точки начала истории, те, которые выступали как моменты идентификации, – это Крещение Руси (племенное сознание входит в орбиту крупную, православную, имперскую), Петр I (попытка вклю-

читать Россию в Европу) и 1917 год. Это реперные точки. Важно, что каждый раз это соприкосновение некой аморфной, неставшей, несозревшей общности с чем-то более высоким, более организованным, более универсальным. Уравняться с ним это аморфное множество может только в форме империи, потому что другой тип организованности здесь не мыслится. Поэтому имперское сознание является здесь эквивалентом универсального целого.

Э. П.: То есть, анализируя общественное мнение, ты приходишь к выводу о том, что все признаки, символы русской идентификации строятся на противопоставлении «нас» некоему «конституирующему иному». Но ведь все общности так складывались?

Б. Д.: В нынешние времена это, конечно, противопоставление империи и демократии. Поэтому демократия «у нас» всегда будет (если будет) «особая», потому что для нас важнее держава. Ну и потом понятно, что демократии (не тогда, когда они формировались в XIX веке, а сегодня) – это же не национальная вещь. А внутри империи еще решается вопрос о том, кто мы – русские, российские, или советские, или вообще всеобщие универсальные, мировые.

В идее того, чему противостоит российское как державное, вот еще какой важный признак скрывается: то, что «они», которым «мы» противостоим как особые, уже «готовые». Их время прошло. А мы еще в пути. У нас все впереди. У нас будущее. И Томас Манн, кстати, так и писал пример-

но до 1918 года: немецкий юноша, вечный студент, который скитается от страны к стране, ходит по всей Европе, – это же немцы, которые ищут себя. А они-то на Западе все уже давно сложились, они на закате. Отсюда «Закат Европы» и т. д.

Э. П.: Это во всех случаях идеология «виноград зелен». Компенсаторная. В поисках этой компенсации ищется противовес. То есть так или иначе люди, использовавшие эту идеологию, признавали неявно превосходство некоего «конституирующего иного». Более высокий уровень организации, более высокий уровень достижений. И искали в своей личности некую компенсацию. Да, мы отстаем в оружии, проигрываем войны, проигрываем в экономике, но зато у нас есть длинная история, которая у них почему-то уже закончилась, и великая духовность в противовес их унылому прагматизму.

Л. Г.: У Гейне уже это приобретает иронический смысл. Он издевался над этим. В поэме «Германия. Зимняя сказка» он пишет:

Французам и русским подвластна земля,
Британцам море покорно,
Но в царстве воздушном мечтательных грез
Немецкая мощь бесспорна.
Здесь в наших руках гегемония; здесь
Мы все нераздельно слились,
Не так, как другие народы, – они
На плоской земле развились.

Б. Д.: Вот что мы еще не сказали. Вернее, сказали, но надо назвать это одним словом. Слово «особый», видимо, надо понимать в рамках данной идеологии как некую аналогию избранного народа. Особый – значит избранный. В этом смысле он лучший, неповторимый. И у него особые отношения. Вот только с чем или с кем? А дальше надо социологически прорабатывать, с чем – с историей, с другими странами, между народом и властью. Кстати, что чаще всего в «особость» закладывает российское население? На наш вопрос: «Когда вы говорите об особом пути, что вы имеете в виду?» – люди в первую очередь указывают на особые отношения между властью и народом. У власти вся власть. Зато она опекает население. Население предается власти, но зато может делать то, что хочет.

Л. Г.: Но власть при этом не просто власть. Она с определенной миссией, санкцией. Она миссионерская. Это власть Третьего Рима, если хотите. Или с коммунистической миссией. Поэтому это очень сильная легитимация власти.

Б. Д.: Не случайно, что в конечном счете все сходится на Победе во Второй мировой войне, потому что это одновременно наша Победа, как и наша война, но зато это такое участие во всемирной истории, которого больше ни у кого нет. Мы спасли всемирную историю, мы всю Европу спасли. Вот когда мы оказались выше всех и показали, кто мы на самом деле.

Л. Г.: Так же, как Европу мы спасли от татар.

Б. Д.: Тут важно, что мы все-таки оказались хоть один раз лучшими.

Э. П.: Ну, может, не один раз.

Б. Д.: Ну или поляков победили.

Э. П.: Только ли поляков, вот еще и Наполеона.

Л. Г.: Главное, что это кристаллизующие моменты национальной идеологии, национальной мифологии, национального величия.

Б. Д.: Вот недавно я участвовал вместе с молодым писателем Сергеем Шаргуновым в передаче «Радио Свобода», посвященной Победе. Все нормально было, в рамках, мы как-то договаривались обо всем. И вдруг в конце он говорит: «А все-таки была такая минута, когда я чувствовал гордость за свою страну. Это август 2008 года, когда мы показали грузинам». Оказывается, что важно «показать» – полякам, прибалтам, грузинам. Это даже не борьба с США.

Э. П.: Неправда, всякий «патриот» тебе объяснит, что победа над Грузией – это победа над Штатами.

Б. Д.: Конечно, и наши опросы это показывают. Но важно, что это именно таким способом удостоверяется. Я бы сказал, что параллельно с той сложной линией, которую можно выстроить вокруг тех реперных точек, о которых Лев говорил, я бы взялся выстроить другие точки, где «мы их победили» и благодаря этому оказались выше всех на свете, в том числе «их», наших противников, спасли Европу, мир и т. д. И эти

линии – их «преимуществ» и наших «побед» – неким сложным образом были бы соотнесены друг с другом. Это называется: «мы им показали», «мы им вставили» – и может быть и на спортивных, и на военных полях.

Э. П.: Необходимо отметить, что это мифологическое сознание может сохраняться наряду с рациональным. Обе формы сознания живут параллельно. Скажем, в оценке власти они сосуществуют не смешиваясь. В многочисленных социологических наблюдениях это есть. Когда вы оцениваете конкретное качество власти – в экономической, медицинской, военной и других сферах, – оценки оказываются преимущественно негативные и падающие. А когда речь идет о символическом величии – тут власти сам черт не брат.

Л. Г.: Потому что недовольство нынешней властью указывает на то, что есть идеальные представления о власти. Речь идет не о том, чтобы заменить эту власть неким другим устройством. Утверждается именно идеальная структура этой незыблемой власти.

Э. П.: Вернемся к теме «культурное многообразие и особый путь». Итак, мы пришли к выводу, что «особый путь» – нечто похожее на идеологию избранного народа. Так или иначе, а в России уж точно, это еще и форма национализма, которую можно назвать цивилизационным национализмом. Но ведь многим кажется, что есть сходство между идеологией «особого пути» и вполне легитимным явлением, признаваемым всеми, кто занимается модернизацией. Явление это

называется «культурное разнообразие». Недавно я был на конференции, посвященной памяти С. Хантингтона. Экономисты увлечены этим культурным разнообразием, поскольку полагают, что можно оседлать различные виды культурных особенностей и использовать их как культурный капитал.

Б. Д.: Мы говорили об «особости» как тормозе, защите, барьере. Ты же сейчас предлагаешь рассмотреть ее как ресурс, да? Тут опять надо себя спросить: ресурс чего? Думаю, что под ресурсом в обобщенном виде имеются в виду две вещи – ресурсы активности и ресурсы сплоченности. В России, мне кажется, сегодня нет ни того ни другого. И наши исследования это показывают. Если не говорить о группах номенклатуры, где тип сплоченности совершенно другой. Там важна принадлежность к номенклатуре, важно из нее не выпасть, и активность ограничивается правилами внутриноменклатурного поведения: ты не должен проявлять излишней активности в подъеме наверх, и тогда тебе «дадут», когда полагается. Но не это наша проблема. А применительно к состоянию социума ни особости как ресурса активизации, ни особости как ресурса сплоченности, по-моему, в сегодняшней России нет.

Э. П.: Давай я поиграю в адвоката дьявола и скажу, что в России может быть и то и другое. Во-первых, наше население разнородно в историко-культурном отношении. Пусть, скажем, народы Северного Кавказа не составляют большинства, но у них групповая сплоченность на высочайшем уровне.

Правда, этот вид сплоченности еще в большей мере, чем общероссийская разобщенность, формирует как бы зонтик, защищающий от проникновения универсализма, скажем, для восприятия законов как универсальных норм, действующих в данном обществе и обязательных для всех без исключения.

Б. Д.: Если ты возьмешь еще и криминальные группы или что-нибудь в этом роде, то, конечно, найдешь сплоченность.

Э. П.: Я к тому и веду, что есть разные виды сплоченности и они, как и активность, могут стать ресурсом модернизации, только если будут сопровождаться ростом правосознания. В противном случае возникает анархическая активность и антиобщественная сплоченность. Хочу также подчеркнуть, что сплоченность и активность не являются неизменными свойствами социума – они поддаются выращиванию, культивированию в разнообразных направлениях. В этой связи еще раз напомним идею писателя С. Шаргунова, о которой Борис уже вспоминал. Ту же идею можно услышать из уст представителей русских националистических сил. Они говорят о том, что источником сплоченности и активности могут стать победы России. И если мы не можем побеждать на ниве высоких экономических достижений, то вполне способны побеждать на поле военной битвы, пусть пока и небольшие страны, такие как Грузия.

Б. Д.: В самом деле, разные группы, включая СМИ, сегодня пытаются использовать именно такой ресурс повышения сплоченности. Но это поднимает чрезвычайно серьезный и

очень любопытный вопрос, он нас сильно уведет в сторону, но два слова о нем. Все победы, которые СССР, а потом Россия (и даже, вероятно, досоветская Россия, но не буду сейчас в это углубляться) одерживали, начиная с военных и кончая спортивными, не имели продолжения в жизни нашего общества – с победы оно ничего не получало. Возьмем ли мы победу над Наполеоном или победу 1945 года – всякий раз для социума ситуация «после» в целом оказывается хуже, чем было «до». Это, с одной стороны, отчасти подтверждает нашу общую идею насчет установки на понижение и использование властью этого механизма, а с другой – бросает новый свет на «пейзаж после битвы». Народ, одержавший победу, не получает новых степеней свободы, активности, новых форм солидарности, а получает, наоборот, новые формы порабощения, новые формы ограничений и т. д.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.